

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

С коммен-
тариями
Эдуарда
Власова

18+

МОСКВА- ПЕТУШКИ

Венедикт Ерофеев

Русская литература. Большие книги

Венедикт Ерофеев

**Москва – Петушки. С
комментариями Эдуарда Власова**

«Азбука-Аттикус»

1970, 2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Ерофеев В. В.

Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова /
В. В. Ерофеев — «Азбука-Аттикус», 1970, 2015 — (Русская
литература. Большие книги)

Венедикт Ерофеев – явление в русской литературе яркое и неоднозначное. Его знаменитая поэма «Москва—Петушки», написанная еще в 1970 году, – своего рода философская притча, произведение вне времени, ведь Ерофеев создал в книге свой мир, свою вселенную, в центре которой – «человек, как место встречи всех планов бытия». Впервые появившаяся на страницах журнала «Трезвость и культура» в 1988 году, поэма «Москва – Петушки» стала подлинным откровением для читателей и позднее была переведена на множество языков мира. В настоящем издании этот шедевр Ерофеева публикуется в сопровождении подробных комментариев Эдуарда Власова, которые, как и саму поэму, можно по праву назвать «энциклопедией советской жизни». Опубликованные впервые в 1998 году, комментарии Э. Ю. Власова с тех пор уже неоднократно переиздавались. В них читатели найдут не только пояснения многих реалий советского прошлого, но и расшифровки намеков, аллюзий и реминисценций, которыми наполнена поэма «Москва—Петушки». Содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

© Ерофеев В. В., 1970, 2015
© Азбука-Аттикус, 1970, 2015

Содержание

Венедикт Ерофеев	7
Уведомление автора	7
Москва. На пути к Курскому вокзалу	8
Москва. Площадь Курского вокзала	10
Москва. Ресторан Курского вокзала	11
Москва. К поезду через магазин	13
Москва – Серп и Молот	15
Серп и Молот – Карачарово	16
Карачарово – Чухлинка	17
Чухлинка – Кусково	19
Кусково – Новогиреево	21
Новогиреево – Реутово	23
Реутово – Никольское	26
Никольское – Салтыковская	27
Салтыковская – Кучино	29
Кучино – Железнодорожная	31
Железнодорожная – Черное	33
Черное – Купавна	35
Купавна – 33-й километр	37
33-й километр – Электроугли	39
Электроугли – 43-й километр	40
43-й километр – Храпуново	43
Храпуново – Есино	45
Есино – Фрязево	47
Фрязево – 61-й километр	50
61-й километр – 65-й километр	53
65-й километр – Павлово-Посад	55
Павлово-Посад – Назарьево	57
Назарьево – Дрезна	60
Дрезна – 85-й километр	62
85-й километр – Орехово-Зуево	64
Орехово-Зуево	66
Орехово-Зуево – Крутое	67
Крутое – Воиново	69
Воиново – Усад	71
Усад – 105-й километр	73
105-й километр – Покров	75
Покров – 113-й километр	78
113-й километр – Омутище	80
Омутище – Леоново	82
Леоново – Петушки	84
Петушки. Перрон	85
Петушки. Вокзальная площадь	87
Петушки. Садовое кольцо	88
Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому	90
Москва – Петушки. Неизвестный подъезд	91

Эдуард Власов	92
Предисловие	92
1. Москва – Петушки. Поэма	95
2. Уведомление автора	96
3. [Посвящение]	97
4. Москва. На пути к Курскому вокзалу	98
5. Москва. Площадь Курского вокзала	113
6. Москва. Ресторан Курского вокзала	120
Конец ознакомительного фрагмента.	125

Венедикт Ерофеев, Эдуард Власов
Москва—Петушки. С
комментариями Эдуарда Власова

© Венедикт Ерофеев (наследник), 2015

© Эдуард Власов, комментарии, 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Венедикт Ерофеев Москва—Петушки Поэма

Уведомление автора

Первое издание «Москва—Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот – Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот – Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот – Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот – Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

В. Ер.

*Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор
эти трагические листы*

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелью, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, – а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера – выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик – и так и уснул). Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей – а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, – все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно

куда. Если даже ты пойдешь налево – попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних сединок оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо – обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получай свою суету...

– Да брось ты, – отмахнулся я от себя, – разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне – что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...

– Конечно, Веничка, конечно, – кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково, – *зажмурься, чтобы не так тошнило.*

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

– Ну, конечно, мы, – и опять так ласково!..

– А знаете что, ангелы? – спросил я, тоже тихо-тихо.

– *Что?* – ответили ангелы.

– Тяжело мне...

– *Да мы знаем, что тяжело,* – пропели ангелы. – *А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...*

– Красненького?

– *Красненького,* – нараспев повторили ангелы Господни.

– Холодненького?

– *Холодненького, конечно...*

О, как я стал взволнован!..

– Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии – ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

– *А ты вот чего: ты зайдя в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..*

– Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

– *На здоровье, Веня...*

А потом так ласково-ласково:

– *Не стоит...*

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, – не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? вспомни... иди и вспоминай...

Я пошел через площадь – вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался – и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.

– Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой – это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты – после. А может быть и наоборот: выпив кориандровой, я...

– Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь – только музыка, да и музыка-то с какими-то песыми модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных»... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... Не отверга-а-ай»...

– Будете чего-нибудь заказывать?

– А у вас чего – только музыка?

– Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя...

Опять подступила тошнота.

– А херес?

– А хересу нет.

– Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

– Оччень интересно. Да. Хересу – нет. А вымя – есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой...

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, – будет страшно больно... Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срыгается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела – тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?... Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился – не такая уж тяжелая эта мысль... Но если ты сидишь с перепоем и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра – вот это уже тяжело... Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепоем...

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

– Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

– Хересу, пожалуйста. 800 грамм.

– Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

– Ну... я подожду... когда будет...

– Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навывпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

– Кому здесь херес?!..

Надо мной – две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности – я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то сник и растерял душу.

– Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду... я так...

– Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

– Да ппочти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) – гостинцев купил...

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

– Я ведь... из Сибири, я сирота... А просто чтобы не так тошнило... хереса хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал – о, боль такого позора! – через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже – вытолкнули.

Опять – на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом – от ресторана до магазина и от магазина до поезда – человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, – они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так – давайте почти минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни – помни о них. В минуты блаженства и упоений – не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почти минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок – нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди – тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, – изваять его вот так, в наизидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

– Да, – говорю я вам, – из магазина. – А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

– Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

– Ну, это как сказать! – говорю я, склонив голову вправо. – Чемоданчик – точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

– Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно...

– Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь.

– Так-так-так, – говорите вы, – а общий итог? Ведь все это страшно интересно...

Сейчас я вам скажу общий итог.

– Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, – говорю я, вступив на перрон. – Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

– Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

– Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так – вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

– Зачем? Опять стошнит?

– Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать – сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже вижу – отсюда, с мокрого перрона, – как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головой и беретесь иронизировать:

– Как это сложно, Веничка! как это тонко!

– Еще бы!

– Какая четкость мышления! И это – все? И это – все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше – ничего?

– Ну как, то есть, – ничего? – говорю я, входя в вагон. – Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

– О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестая с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаёте:

– Ты чего, обиделся?

– Да нет, – отвечаю.

– Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить кроме водки.

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, – тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, – я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

Москва – Серп и Молот

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепоею я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам – какие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набраться за день, – какие бездны во мне по вечерам!

Но – пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо – верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот – если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение – это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, – так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно – и утром, и вечером – тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский – тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны...

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал – и вдруг затомился. Еще раз ощупал – и поблек... Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», – тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи!

Серп и Молот – Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово – Чухлинка

А выпив, – сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность – так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, – выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами...

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается:... глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутраченной заботой и мукой – вот какие глаза в мире чистогана...

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навывают, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделялся?.. Кувыркнулся из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел – пусть. Может, я там что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон – справа, у окошка – сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста – никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крикнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: «Заку-уска у нас сегодня – блеск! Закуска типа „я вас умоляю!“». А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а... Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли – мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти – пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром... «Закуска типа „я вас умоляю!“»... Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью – прячусь. Во время работы пью – прячусь... а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного – и сколько раз это губило меня...

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся, на меня глядя, как-то смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно... И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх... «В чем дело? – терзался я, – отчего это так?»

И вот, наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают – двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось...

– Послушай-ка, – сказали они, – ты это брось.

– Что «брось»? – я изумился и чуть привстал.

– Брось считать, что ты выше других... что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред...

– Да с чего вы взяли!..

– А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка – Кусково

- Пил.
- Много пил?
- Много.
- Ну так вставай и иди.
- Да куда «иди»??
- Будто не знаешь! Получается так – мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...
- Позвольте, – говорю, – я этого не утверждал...
- Нет, утверждал. Как ты поселился к нам – ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь...
- Да какого «дела»? Каким «отсутствием»? – я уж от изумления совсем глаза распахнул...
- Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь – вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже по малой!
- И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.
- Нет, вы меня не так поняли, ребята... просто я...
- Нет, мы тебя правильно поняли...
- Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я. ать пошел!» или «Ну, ребята, я. ать пошел!» Не могу же я так...
- Да почему же ты не можешь! Мы – можем, а ты – не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..
- Да нет же... Как бы это вам объяснить...
- Нам нечего объяснять... нам все ясно.
- Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи...
- Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет...
- И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу... Я начал сдаваться...
- Ну, конечно, я тоже могу... я тоже мог бы...
- Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, – не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами...
- Да нет, нет, – тут уж я совсем стал путаться. – В этом мире есть вещи... есть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?... есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева... и потом – клятва на Воробьевых горах... И после этого встать и сказать: «Ну, ребята...» Как-то оскорбительно... Ведь если у кого щепетильное сердце...
- Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.
- Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?
- Пил.
- Сколько кружек?
- Две больших и одну маленькую.
- Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.
- Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не понял. А это целомудрие – самое смешное! – это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности...

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

– А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул...

– Как!! Ни разу!! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. – Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

– Ну, как то есть ни разу! Иногда... все-таки...

– Как!! – еще больше удивляются дамы. – Ерофеев – и... странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

– Ну... а что в этом такого, я же... это ведь – пукнуть – это ведь так ноуменально...

Ничего в этом феноменального нет – в том, чтоб пукнуть...

– Вы только подумайте! – обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «Он все это делает вслух и говорит, что это не плохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар – кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет – «превратно» бы еще ничего! – но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все – я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю мне следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково – Новогиреево

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один – вермут пил, другой, кто попроще – одеколон «Свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Лёха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день – опять в сику, на четвертый – опять вермут. А тот, кто с интеллектом, – тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, – да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге – в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкой: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча, и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказала удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт,

международный аэропорт Шереметьево был забыт, – и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! – Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

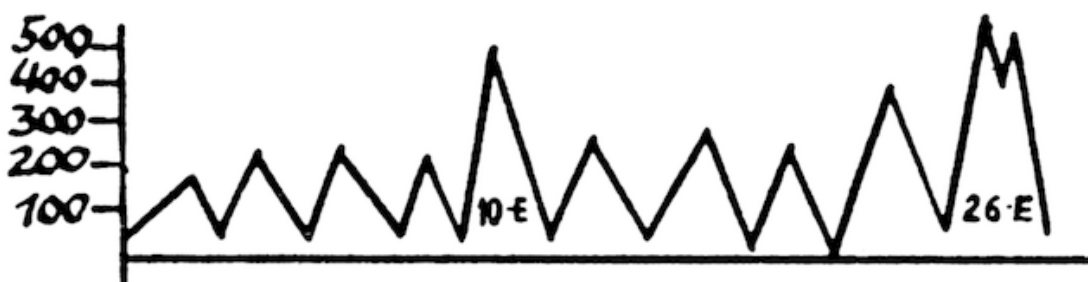
И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков – известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли...

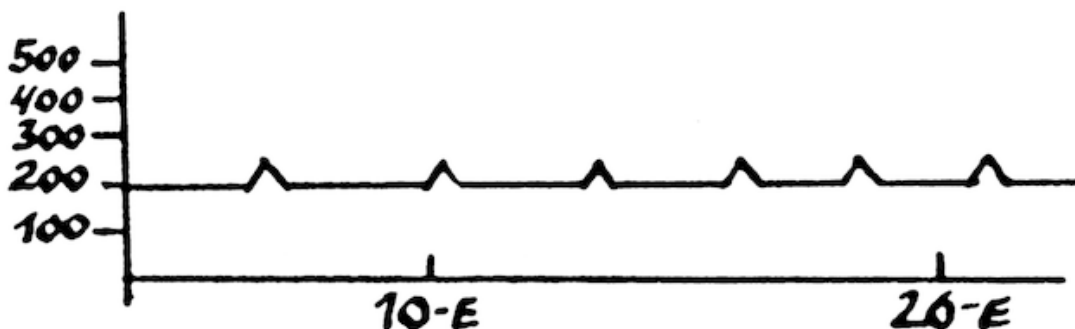
Новогиреево – Реутово

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленовой бумаге, черной тушью, рисуются две оси – одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

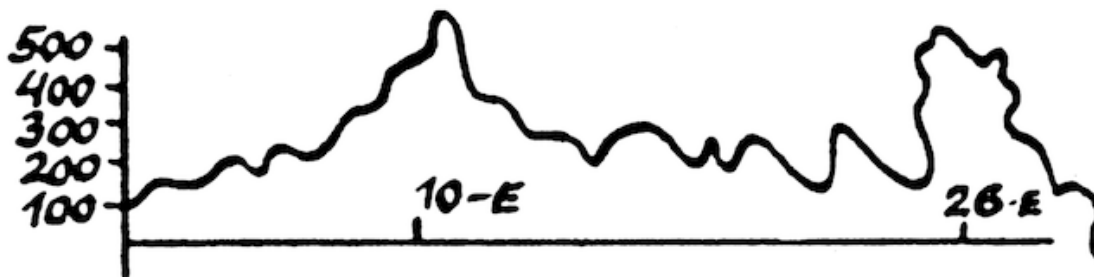
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленовой бумаге, изображаю все это красивой диаграммой. Вот, полюбуйте, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен:



А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва – Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого – предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего – биение гордого сердца, песня о буреизвестнике и девятый вал. И все это – если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, – и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже – получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц – от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь – они ему рупь не дали. Стасик перестал плевать и тоже попросил рупь – они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.

Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня – снизу – сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– *Ффффу!*

– Кто сказал «*ффффу!*» Это вы, ангелы, сказали «*Ффффу!*»?

– *Да, это мы сказали. Ффффу, Веня, как ты ругаешься!!*

– Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомянуть... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

– *Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...*

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравнивали с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! – отчеканивал рассудок. – Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну...

Реутово – Никольское

ну хоть сто пятьдесят...» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, – сказал, – хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома...»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках – твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, – белого, переходящего в белесый, – эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа, будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной – о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил – там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, – вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? – а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона – зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву „ю“ и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква „ю“? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он – знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока – вы уж простите меня – пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот – я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское – Салтыковская

«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», – подумал я, делая тринадцатый глоток.

«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, – омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, – но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?»

Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»

«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги делаются прямо излишними.

А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»

«А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен... Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, – об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может еще отчего, но все-таки – ни слова.

Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: „Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!“ А мне удивлялись и говорили: „Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?“ А я говорил: „О, не знаю, не знаю! Но есть“.

Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво – сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем „скорби“ и „страха“. Назовем хоть так. Вот: „скорби“ и „страха“ больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, „мое прекрасное сердце“ источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите.

Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что „мировая скорбь“ – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами,

потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

К примеру: вы видели „Неутешное горе“ Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое – ну, фиал из севрского фарфора, – или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немислимой цены, – что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она „выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра“!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня? – Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна? – В высшей степени легкомысленна!

Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забудды? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание – весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».

Смотрите, как это делается!..

Салтыковская – Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

– *Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много...*

Я от удушья едва сумел им ответить:

– Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков – нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим... И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

– *Мы боимся, что ты опять...*

– Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутой все счастливей... и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо... как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того... какие вы глупые-глупые!..

– *Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь...*

– До чего не доеду?! До них, до Петушков – не доеду? До нее не доеду? – до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы...

– *Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов...*

– Ну что вы, что вы! Пока я жив... что вы! В прошлую пятницу – верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать... Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля... Но сегодня – доеду, если только не подохну, убитый роком... Вернее – нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

– *Бедный мальчик...* – вздохнули ангелы.

– «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

– *О нет, до самых Петушков мы не можем... Мы отлетим, как только ты улыбнешься... Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз – мы отлетим... и уже будем покойны за тебя...*

– И там, на перроне, встретите меня, да?

– *Да, там мы тебя встретим...*

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, – разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге... Но ведь он тут же пошел на поправку – как только меня увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случилось!..

Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза – пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку – он очень любит, когда его мать затопляет печку, – оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется... А если и заболеет, – пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку...

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кровати, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар...

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке... Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

– Ты... знаешь что, мальчик? ты не умирай... ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная... Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

– *Понимаю, отец...*

И как он это сказал! И все, что они говорят – вечно живущие ангелы и умирающие дети, – все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, – махонькими буквами, потому что это более или менее чепуха. «*Понимаю, отец!*»...

– Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросычью фарандолу» – помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик...» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак... «С февраля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-гус-та ножки про-тяну-ла»... Ты любишь отца, мальчик?

– *Очень люблю...*

– Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь... Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу... «На исхо-де ав-густа ножки про-тяну-ла...» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-надень-ка-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»... У меня особые причины любить эту гнусность...

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

– Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, – смотрит только в небо, а что у нее под ногами – не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я – пока не рухну, вечно буду зеленым...

– *Зеленым*, – отозвался младенец.

– Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть... Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

– *Противно*, – повторил за мной младенец и блаженно заулыбался...

Вот и я теперь: вспоминаю его «*Противно*» и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы – и отлетают от меня, как обещали.

Кучино – Железнодорожная

Но сначала все-таки к ней. Сначала – к ней! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться влежку, и пастись, пастись между лилиями – ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся.

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искустельница – не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза – не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»

– Может! – говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. – В Москве – нет, в Москве не может быть, а в Петушках – может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно – слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще – была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? – спросите вы. – А еще что было?»

– А еще – было два мужичка, и были три косящих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение – я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

– Так это вы: Ерофеев? – и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула...

– Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

– Я одну вашу вещичку – читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

– Так ли уж выше! – я, польщенный, разбавил и выпил. – Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Вот – с этого все началось. То есть началось беспмятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но – как бы то ни было – я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих – никого. И она – рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это – женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали

только предчувствия. Это – женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»

А она взяла – и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого, – все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, – и все это с такою пластикой, что я не мог глядеть на нее без содрогания...

Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она.....?» Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она.....!

Еще бы она не.....! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правою рукою»! – а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище – и не могу, все промахиваюсь мимо туловища...

«Что ж! играй крутыми боками! – подумал я, разбавив и выпив. – Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть – все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»

Так думал я. А она – смеялась. А она – подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

Железнодорожная – Черное

выпила – и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, – подумал я, – если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее – содрогнется земля и камни возопиют».

А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня.....?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо.....!»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей... До этого – сказать ли вам? – до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся – сердце останавливалось в испуге. Помыслы – были, но не было намерений. Когда же являлись намерения – помыслы исчезали и, хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне – как бы это назвать? «негу», что ли? – ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня – ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? – ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И... из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И... из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама – сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкой. В этом было что-то от поощрения, и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя – тоже что-то было. И потом – эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля – живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках – весь – влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство...

Вы мне скажете: «Так ты что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?»

А какое мне дело! А вам – тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки «пусть». Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебалу – ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать – дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мутила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского – я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

– Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученный виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь – лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она – молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал:

– Но почему?.. почему?

Она мне – второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

– Но почему? – заклинаю – ответь – почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась и обвисла на шее:

– Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам – знаешь, почему, угорелый!

И после того – почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня – сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница – тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..

Черное – Купавна

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил...

– И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой! Ты, у которого такая есть в Петушках! И такой за Петушками!.. Одинок?

– Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, – тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, – и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной – что, не желая плакать, заплакал...

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, – день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессой, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне – что принесли? – две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать – и уже не мог...

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душой за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже – не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал...

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? – будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, – совсем наоборот. А если смотреть со стороны – конечно...

Нет, вот уж теперь – жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» – таково мое мнение. Но уж если мы родились – ничего не поделаешь, надо немножко пожить... «Жизнь прекрасна» – таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты с вечера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться – служба и все такое – и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) – отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопровождала тебя с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и с паузами в сорок – сорок пять минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите – сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша – выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом – потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И – Бог свидетель – как я дерзал! Если вы так дерзнете – вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я – просыпался, каждое утро почти просыпался – и снова начинал дерзать.

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

Купавна – 33-й километр

и включительно по девятую – размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: «Надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу – тогда, может быть, начнется рецидив возмужания». Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов – я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом – но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом – не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) – то есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! – святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им – на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами; попоью-попоью – перестану, попоью-попоью – опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленное ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, – но ведь они-то! они!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день – исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы, как костер, – сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленные красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте...

– Помилуйте! – кричат мне со всех сторон. – Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы...

– Вот именно: нет! – кричу я во все стороны. – Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это – не наше, все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В той самой

стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам – психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..

А мы, повторяю, займемся икотой.

33-й километр – Электроугли

Для того чтоб начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или *an sich* (термин Иммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, – или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть *für sich*. Термин Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и *an sich* и *für sich*, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое: старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, килькупряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом – сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность ее начала: потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза *et cetera*. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота достаивает вас быть – в секундах, конечно:

– восемь – тринадцать – семь – три – восемнадцать.

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:

– семнадцать – три – четыре – семнадцать – один – двадцать три – четыре – семь – семь – семь – восемнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального – смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

– тринадцать – пятнадцать – четыре – двенадцать – четыре – пять – двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека – нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон – он выше всех нас. Икота – выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

– двадцать две – четырнадцать – все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она неисследима, а мы – беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого – тоже нет.

Мы – дрожащие твари, а она – всесильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Электроугли – 43-й километр

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий – к свету. От Москвы – к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне – к свету и Петушкам. *Durch Leiden – Licht!*

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

– Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва – не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская – это такое дерьмо! А российская – смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков – невредимый, – я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду – напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, – в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном – в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» – в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения ничто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм отделить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1 : 2 : 1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура – это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат – 100 г.

Бархатное пиво – 200 г.

Политура очищенная – 100 г.

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») – жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».

В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» – это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» – напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», – говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», – говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» – и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешно поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»! Слушайте точный рецепт:

Белая сирень – 50 г.

Средство от потливости ног – 50 г.

Пиво жигулевское – 200 г.

Лак спиртовой – 150 г.

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здоровый ум, и твердую память или, наоборот, – теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, – память твердая, а здорового ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм – и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здорового ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, – лишился.

Лаванда – 15 г.

Вербена – 15 г.

Одеколон «Лесная вода» – 30 г.

Лак для ногтей – 2 г.

Зубной эликсир – 150 г.

Лимонад – 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек – но вы меня не заставьте помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой...

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток – это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? – борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское – 100 г.

Шампунь «Садко – богатый гость» – 30 г.

Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г.

Клей БФ – 15 г.

Тормозная жидкость – 30 г.

Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 30 г.

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов – и подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть – на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки – от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й километр – Храпуново

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас... А в Петушках – в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавы»? Пожалуй что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавы». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любой водкой. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская – это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном – это «Поцелуй, насильно данный», или, проще, «Поцелуй без любви», или, еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»? Чтобы не так тошнило от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и «Первый поцелуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но – у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавы». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, – согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавы».

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском...

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, – глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, – но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...

Подошел – и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм – где же она теперь?

Я обвел глазами всех – ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, – когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, – меня тем временем лишали «Поцелуя тети Клавы»... В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время – прямо комедия... Но теперь – «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И – финита ля комедия. Не всякая простота – святая. И не всякая комедия – божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить – пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?..

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть... Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтас-

кивает к себе, как бы натягивая тетиву, – а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура...

«Транс-цен-ден-тально»... – подумал я. – И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, – значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, – значит, ни тот, ни другой украсть не могли...

Я глянул назад – нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том – до странности похожи: он в жакетке, и она – в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она – при усах и в коричневом берете...

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом... Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

И впереди то же самое, странных только двое: дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка – на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...

«Подозрительно», – подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек – совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не вырастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощулив рот...

А дедушка – тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло оружия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия – в оспинах, как расстрелянная в упор. А посерединке расстрелянной физиономии – распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удушенный...

«Оччень подозрительно», – подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже странно, – подумал я, – они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил»...

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую – дедушке.

– Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

Храпуново – Есино

– Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в Орехово, в парк... в карусели покататься...

А внучек добавил:

– И-и-и-и...

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки»... «И-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»...

– Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

– В карусели.

– А может, все-таки, не в карусели?..

– В карусели, – еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...

– А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи...

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

– Я... нничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым хлебом...

– Компоту с белым хлебом?

– Компоту. С белым хлебом.

– Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищите у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту...

Дедушка – первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...

– Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прошу, если захочу понять. А я – понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены выпить хотя бы то, что вы находите, – взамен того, чего вы хотите...

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

– Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он – тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, и вы решили – на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек – тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками...

– Но – довольно слез. Я если захочу понять, то все вменю. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили – я могу налить вам еще по пятьдесят грамм...

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

– Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете.

– И-и-и-и, – заверещал молодой Митрич, – какой дяденька, какой хитрый дяденька...

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

– Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей – вот...

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

– От моей не откажетесь? – спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место.

– Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

– Тети Клавы?

– Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек – тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

– На брудершафт, ребятишки?

– На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты... «Наш поезд на станции Есино – не останавливается. Остановки по всем пунктам – кроме Есино».

Есино – Фрязево

Началось шелестенье и чмокание. Как будто тот пианист, который все пил, – теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

– Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, – обязательно покраснеют...

– Ну так что же?

– Как, то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький – так те вообще не просыпались!..

– Прекрасно. Ну, а дальше?

– Как, то есть «ну, а дальше»? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихъ штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только – умер.

– Так-так?..

– А Фридрих Шиллер – тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского – и пишет. Пропустит один бокал – готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов – готова целая трагедия в пяти актах.

– Так-так-так... Ну, и...

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и...»

– Ну, и Николай Гоголь...

– Что Николай Гоголь?..

– Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал...

– И пил из розового бокала?

– Да. И пил из розового бокала.

– А что пил?

– А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов...

– А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепоею, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу „Хованщина“!»

И вот они сидят – Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него – Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый – пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает...

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым – бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и – бух! в канаву. А потом встанет – и опять похмеляться, и опять – бух!.. А между прочим, социал-демократы...

– Начитанный, ччччерт! – в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел...

– Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продолжал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем

расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом...

– Погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы?

– Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди – все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые – нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм... А когда они наконец разбудили Герцена...

– Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! – рывкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рывкал Амур в коверкотовом пальто. – Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака...

Все, кто мог смеяться, – все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница – в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно... И я – вместе с ними... Я повернулся к жакетке и черным усам:

– Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, при чем же тут демократы и «Хованщина» и...

– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! различинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! все честные люди России! а отчего они пили? – с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает – и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире – и поддыхает, а Гаршин встает – и с перепоею бросается через перила...

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, – все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло... Декабрист в коверкотовом пальто – и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза...

– И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы Маркса читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так – до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия – он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку – я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

– Стоп! – прервал его декабрист. – А разве нельзя не пить? Взять себя в руки – и не пить? Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил.

– Не пил? Совсем? – черноусый даже привстал и надел берет. – Не может этого быть!

– А вот и может. Сумел человек взять себя в руки – и ни грамма не пил...

– Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте?

– Да. Я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил.

– Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

– Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки – и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, – шепнул я сам себе, – помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегория или...»

– Так вы говорите: тайный советник Гёте не пил ни грамма? – я повернулся к декабристу. – А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он – не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязева. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева – и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гёте? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что – есть свидетельство – он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет – а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит – а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал – тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет – и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас – так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крикает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте! Шиллер ему подносит, а он отказывается – еще бы! Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте! И руки у него как бы тряслись!..

– Вот это да-а-а... – восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист – широким жестом – вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки – до странности возбужденно...

Мне налили – больше всех. Старому Митричу – тоже налили. Молодому тоже подали стакан – он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы...

– Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте?

Фрязево – 61-й километр

– Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные – тоже...

– А... разрешите вам задать один пустяшный вопрос, – сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне. – Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?... Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать – вы с утра ничего не пили!

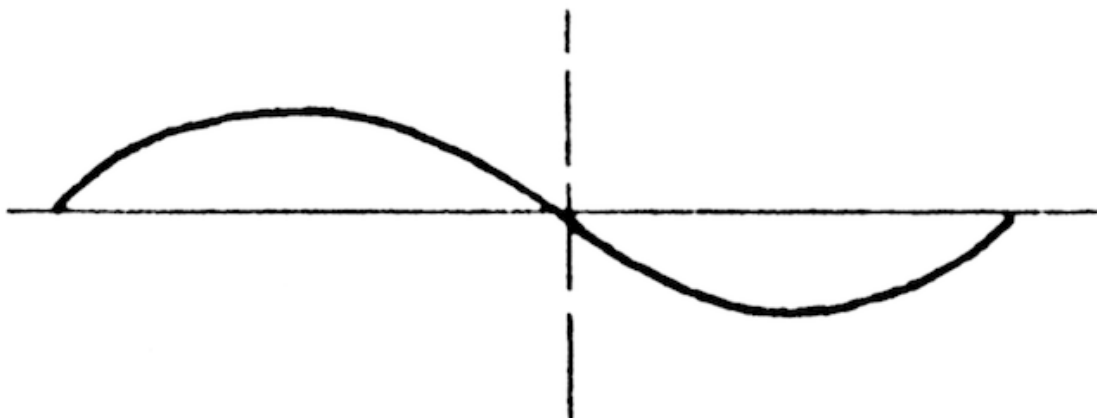
Я даже обиделся:

– Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...

– Нет, нет, эта замутненность – от грусти! Вы как Гёте! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гёте, все опровергаете...

– Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

– Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью – я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? – наутро я не просто невесел, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия – это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой – момент засыпания, наинизшая – пробуждения с похмелья...

– Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером – бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром – переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спящая природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу – пожалуйста, с похмелья его

сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма... Она – всеобща и к каждому применима. А у вас – все не как у людей, все, как у Гёте!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист – тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

– А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу – не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть – и леммы уже нет... В особенности – если баба плохая, а лемма хорошая...

Браз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое – плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие...»

– У меня, например, – сказал декабрист, – у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая...

– При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

– И об усах! Не было бы усов – не было б и разговора...

– Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. – черноусый опять повернулся ко мне. – С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

– С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посуды меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим...

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» – галдеж возобновился.

– Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать – это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это – уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить...

– Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

– Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба – берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить... Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

– А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации – способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посуды. Я говорю: «Хозяюшка!» – голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобоем мне, будьте добры...» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк – волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать – так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо – ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика – смеялась. А внучек верещал: «И-и-и, какие агавы, какие хорошие капри...»

– А плохая баба? – сказал декабрист. – Разве не нужна бывает и плохая баба?

– Конечно! Конечно, нужна, – отвечал я ему. – Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уж четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот – он во гробе. И воскрес, если сможешь». А она подошла ко гробу – вы бы видели, как она подошла!

– Знаем! – сказал декабрист. – «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

– Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю – встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал – и пошел. И вот уж три месяца хожу замутненный...

– Замутненность – от грусти, – повторил черноусый в беретке. – А грусть – от бабы.

– Замутненность – оттого, что поддал, – перебил его декабрист.

– Да при чем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! – плохая, значит, баба! Да если даже и плохая – все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

– Честное слово! – вскричал декабрист. – Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь... Давайте и я вам что-нибудь расскажу – про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет...

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич – и тот сказал: «Давайте!..»

61-й километр – 65-й километр

Первым начал рассказывать декабрист:

– Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался – знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, – а вот поди ж ты, помешался...

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается... Поддай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда – воскресью: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

– Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

– Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду!

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

– Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?

– Конечно, – отвечает, – если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, – тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасти. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой – да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Рррупь мне дай, – говорит. – Дай мне рррупь!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пушей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку...

И вот – я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом – швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил!.. «Вот она – Эрдели! Не веришь – спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом – потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек как человек. Вот видите!..

«Да где же тут любовь и где Тургенев?» – заговорили мы, почти не дав закончить. – «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили – вот примерно все это и расскажи...»

– Конечно, – прибавил я, – у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете... Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо – что нам жабо! Мы уже и без жабо – лыка не вяжем...

– Конечно! Конечно!

– Если любить по-тургеновски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеновски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, – смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

– Ну зачем палец?.. при чем тут палец? – застонал декабрист.

– Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

– Боже мой! Нет, не смог бы.

– Ну вот то-то...

– А я бы смог! – проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. – А я бы смог чего-нибудь рассказать...

– Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

– Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал...

– Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, – подумал я, – что это будет за чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторять, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна – все равно: смотри и чти, смотри и не плюй...

Дедушка начал рассказывать:

65-й километр – Павлово-Посад

– Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливает...

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

– А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... и тут уже к нему не подступись – молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек – отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны...

– Ну и все, что ли, Митрич?..

– И все, – отвечал он сквозь слезы.

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился:

– Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

– Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! – брякнул кто-то со стороны. – Кинокартину «Председатель»!

– Какая там, к черту, кинокартина!..

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи – все жалко... Первая любовь или последняя жалость – какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру – едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева – жалость.

– Давай, папаша, – сказал я ему, – давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..

– И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

– Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмокание. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис...

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался...

– Я тоже хочу Тургенева и выпить, – проговорила она всюю утробой...

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

– Аппетитная приходит во время еды, – съязвил декабрист. Все засмеялись.

– Чего тут смеяться, – сказал дедушка. – Баба как баба, хорошая, мягонькая...

– Таких хороших баб, – мрачно отозвался черноусый и снял берет, – таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...

– Ну почему, почему! – я запротестовал и засуетился. – Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!...» – Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «тети Клавы».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это – видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала – и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

Павлово-Посад – Назарьево

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «Видите – четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу – у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа...

– Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок – я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»...

– Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, – оборвал ее черноусый.

– Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневил, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже – нет, чтобы коров пасти и жать хлеба – так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я – как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»

И так всякий раз – стоило мне немного напиться. «Кто за тебя, – говорю, – детишек?.. Пушкин, что ли?» А он – прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, – кричит, – уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом – все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого...

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек – не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу – любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, – орет, – сердцем – да, сердцем люблю твою душу, но душою – нет, не люблю!!»

И как-то дико, по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я“!»

Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! – закричала. – Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек...» А он – не говоря ни слова – подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

– Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток...

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.

– А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири...

– Верно говоришь, – поддержал я ее. – В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов – был. Он говорит: идешь, идешь, видишь – кишлак, а в нем киззяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и глаза навывкате...

– А в Сибири?..

– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца – и негры на них вешаются...

– Да что еще за негры? – встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. – Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..

– Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

– Никаких негров? В Штатах?..

– Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, – все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные – забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка...

– Значит, вы были в Штатах, – мямлил черноусый, – это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам верю, как родному... Но – скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...

– Да, – отвечал я ему, – свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них – я много ходил и вглядывался, – у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? – думал я и сворачивал с Манхэттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: – От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. Но откуда берется самодовольство??» Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов – откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей – откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством – а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

– Да, да, да, – кивал головою старый Митрич, – они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?..

– Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах – помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

– Как же... помню... – и все выпитое выливалось у него из синих глаз, – помню... «мы с бабушкой уходили все дальше в лес...»

– Да разве ж это про Родину, Митрич! – ословело сердился черноусый. – Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал...

Назарьево – Дрезна

А черноусый сказал:

– Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

– Не знаю, как по ту. А по эту – совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий – поодаль – поет про того, кто рисует... И так от этого грустно! А они нашей грусти – не понимают...

– Да ведь итальянцы! – разве они что-нибудь понимают! – поддержал черноусый.

– Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, – захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поеванный!» Да разве ж я как поеванный! Просто – немотствуют уста...

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!...»

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер... А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра – тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» – спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей – что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, – говорит, – а никакой не Логос! Вон, – кричит, – вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго...

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все спуют – из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским Полям – а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых – она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню; короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно, – прошмыгнула мысль у меня, – откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы...»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего – а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал... – а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла...

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак – я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок – и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер эlegant». Эссе по вопросам любви.

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» – он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему мягкий – так он и совсем растеряется. А там – нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет...

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? – я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок – и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»...

– И вам опять его вернули? – спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...

– Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею – ложной. К русским условиям, – сказали, – возможно, это и применимо, но к французским – нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое вращение некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую – через кровосмешительство – трансформируется наша стервозность, но вращение это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями – и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжело больна, дни и ночи ее сочтены...» А в окрестностях Лондона...

– Позвольте, – прервал меня черноусый, – меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы...

Дрезна – 85-й километр

– Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница – это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи – пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу – никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон – переходи...

Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм. «Чего вы от нас хотите?» – спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу...»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» – сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» – переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»

– В каких же это носках?! – заговорил я, уже досады и не скрывая. – В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! Этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:

– Контролеры! Контролеры!.. – загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!..»

Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, – все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана...

Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого – ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика – публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие – и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим...

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смытаясь от контроля, они бежали сквозь

вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены – так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты...

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант...

Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!!» – нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...

– Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская – Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот – Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»... А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:

– А ты, Веня? Как всегда: Москва – Петушки?..

85-й километр – Орехово-Зуево

– Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва – Петушки...

– И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!

Тут я должен сделать маленькое отступление, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только еще заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва – Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуево, и он так и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва – Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? Убал он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и...» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуево, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва – Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история – тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда...

И вот – Семеныч выпил свою штрафную, крикнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

– Москва – Петушки? Сто двадцать пять.

– Семеныч! – отвечал я, почти умоляюще. – Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

– Прилично, – отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину...

– А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

– Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

– От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда – можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вождельного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

– Могу! – рокотал Семеныч. – Говори, говори, Шехерезада!

– Так слушай. То будет день, «избраннейший из всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет наконец: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот – мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют

«Исайя, ликуй!». И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...

– Сольются в поцелуе?.. – заерзал Семеныч, уже в нетерпении...

– Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина...

– Женщина!! – затрепетал Семеныч. – Что? что женщина?!!!!..

– И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...

– Возляжет?! – тут уж он задержался. – Возляжет?!!

– Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! И...

– О-о-о-о! – застонал Семеныч. – Скоро ли сие? Скоро ли будет?.. – и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности...

Я, как ни был я пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «ого»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять...

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? – что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого! – говорит. – Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!».

– Семеныч! Семеныч! – я обхватил его и потащил на площадку вагона. – На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей...

– Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу... на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась...

Орехово-Зуево

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, растегнутого, – вынесло на перрон и ударило головой о перила... Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону...

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального – я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, – и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если там Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» – я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу...» Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел наконец совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей...

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты – о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! – я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непечатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, – а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты...

«Все ваши выдумки о веке златом, – твердил я, – все – ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск – в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, – а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученный виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

Орехово-Зуево – Крутое

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

– Что ты здесь делаешь, Тихонов?

– Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

– Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?

– А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить – нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие...

– А ты выпей можжевеловой, Вадя...

Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.

– Ну как? Назрела ситуация?

– Погоди, сейчас назреет...

– Когда же выступить? Завтра?

– А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить – нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

– А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой...

Вадимчик выпил и опять загрустил.

– Ну, как? Ты считаешь: пора?..

– Пора...

– Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу...

– Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

– До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь...

– Постараюсь, усну, до свидания, товарищ...

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница».) Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня – я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами – в ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого; приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу...

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, – но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли – колонна на Елисейково, другая – на Тартино. И шли беспрепятственно, вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один – бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда – от магазина в Поломах до андреевского склада сельпо, – все заняты были силами восставших...

А после захода солнца – деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...

С места кричали: «А где это такая – Норвегия?..» «А кто ее знает, где! – отвечали с другого места. – У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была, – унимал я шум, – без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов...» «Белополяки нужны!» – кричал закосевший Тихонов. «О, идиот, – прерывал я его, – вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, – но как доходит до дела, ты говно-говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» – «Да разве я спорю! – сдавался Тихонов. – Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия...»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу, с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо – вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, – было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разьебай-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо – Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права...

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич...

Не спал и пленный, бывший председельсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

– Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

– Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

– А чего это такое?..

– Узнаешь, чего это такое! То есть ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет!..

Крутое – Воиново

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й Пленум, 2-й Пленум, 3-й Пленум и 4-й Пленум...

Весь 1-й Пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? – нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять...

Мысли роились – так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

– Слушай-ка, канцлер!

– Ну, чего?..

– Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

– Найди другого, – обиделся Тихонов.

– Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатолий Ивановича? Ты что же это? – открываешь террор?

– Да так... Немножко...

– И какой террор открываешь? Белый?

– Белый.

– Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем – и декларацию прав. А уж только потом – террор. А уж потом выпьем и – учиться, учиться...

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

– Да-а-а... сплеховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...

– Ну, разве это прецеденты! Это – так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление – как думаешь? – сменим или оставим как есть?

– Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет...

– Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, Пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

– Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й Пленум... Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открыть 2-й Пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

– Я встаю с президентского кресла, – сказал я в своем выступлении, – я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?

– Нет таких, – хором отвечали делегаты.

– Мою, например, харю – разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

– Ну, так вот, – продолжал я. – Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет...

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, – допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отшел в сторону канцлера, от него разило пуншем:

– Тебе нравится, Вадя, наша революция?

– Да, – ответил Вадя, – она лихорадочна, но она прекрасна.

– Так... А насчет Норвегии, Вадя, – насчет Норвегии ничего не слышно?

– Пока ничего... А что тебе Норвегия?

– Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет... Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло – и тогда увидишь, что будет!..

– Садись, – ответил Вадя, – кто тебе мешает, Ерофейчик?!.. Если хочешь – садись...

Воиново – Усад

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й Пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, – я беру в свои руки всю полноту власти; то есть кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того – полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом. То есть „личностью, стоящей над законом и пророками...“»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения...

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. «Смерть наступила вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й Пленум был траурным.

Я выступил и сказал:

«Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки – вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, – а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка...»

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В Общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят...»

Тут уже заорали с мест:

– А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!

– Как же! дадут вам Б-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

– «Фантомы» дадут!

– Ха-ха! Кто это сказал: «Фантомы»? Еще одно слово о «Фантамах» – и я лопну от смеха...

Тут Тихонов со своего места сказал:

– «Фантомов» нам, может быть, и не дадут, – но уж девальвацию франка точно дадут...

– Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия – и ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел – какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в пояс кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица Небесная, как далеко еще до Петушков! – сказал я сам себе. – Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду – где же Петушки?»

«Где же Петушки?» – спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ – все, кто был на веранде, – все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал – ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того – кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся – пассажиры поезда «Москва – Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, – чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...

– Мы подъезжаем к Усадю, да? – Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: – Мы подъезжаем к Усадю?

– Ты, чем спяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, – отвечал какой-то старичок. – Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтраму не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

– От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

– Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве, и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странница»? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить – но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем – или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

– Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струнку и рывкнул: «Никак нет!!» А потом – потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад – 105-й километр

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», – но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку – о, какая чернота! и что там в этой черноте – дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..

– А! Это ты! – кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время – искушать!»

– Так это ты, Ерофеев? – спросил Сатана.

– Конечно, я. Кто же еще?..

– Тяжело тебе, Ерофеев?

– Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

– А раз тяжело, – продолжал Сатана, – смири свой порыв. Смири свой духовный порыв – легче будет.

– Ни за что не смирю.

– Ну и дурак.

– От дурака слышу.

– Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил:

– Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь...

И Сатана ушел, посрамленный.

А я – что мне оставалось? – я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой – таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится – она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма...»

«Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала...»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться – бах! уже темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего „о-о-о“! Чего ты все „о-о-о“ да „о-о-о“! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например...»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь, черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино...»

Я взглянул за окно и опять нахмурился: «Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем...»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие – ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, – так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг – подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать – а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы – заря моей пятницы уже взошла. Значит – уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу...»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню...»

«Да что „коса“! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: „коса“! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот – он уже с гульки хуй! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка – и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет „Василек“. И вот – через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот „Василек“. А все будут говорить: „13-й раз подряд мы видим сплошной „Василек“. Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура“. А она рассмеется и скажет: „...“».

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

105-й километр – Покров

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был некто без ног, без хвоста и без головы.

– Ты кто? – спросил я его в изумлении.

– Угадай, кто! – и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся...

– Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был все тот же некто, без ног, без хвоста и без головы...

– Ты зачем меня бьешь? – спросил я его.

– А ты угадай, зачем!.. – ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз – я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине обеими ногами...»

Я опустил глаза и задумался. Он – ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, соплю вытирал...

Первым заговорил все-таки он:

– Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцвечает и так далее?.. Где...

– Да. Где ни зимой, ни летом не отцвечает и так далее.

– Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзуют ее, куда им вздумается?

– Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.

– Так слушай же. Перед тобою – Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

– Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты непустишь? Там, в Петушках, – чего? моровая язва? Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты...?

– Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе – не пуцу, значит не пуцу. Вернее, пуцу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?» – подумал я про себя. А вслух сказал:

– Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разьебаю, загадки?» – подумал я еще раз.

А он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня – по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу – по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

– Это плохая загадка. Сфинкс, это загадка с пороссячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

– Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось сле-

дующее: каждая третья комсомолка была изнасилована; каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой; каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 – определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого теперь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

– Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

– Ха-ха! Давай третью!

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1. Неизвестно почему оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта Б2 – на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасти Водопьянова?»

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

– Ха-ха! – вскричал, потирая руки, Сфинкс. – И эту решать не будешь?! И эту – не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе – на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине – и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 78 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, – узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?!»

– Как то есть «Курского вокзала»?

– А вот так то есть. «Курского вокзала».

– Так он же поскользнулся-то – где? Он же в Петушках поскользнулся! Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

– А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несут такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

– Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

– Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда...

– Тогда давай последнюю, давай!

«Вот: идет Минин, а навстречу ему – Пожарский. „Ты какой-то странный сегодня, Минин, – говорит Пожарский, – как будто много выпил сегодня“. – „Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь“. – „Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?“ – „Сейчас скажу: сначала 150 российской, потом 150 перцовой, 200 столичной, 550 кубанской и 700 грамм ерша. А ты?“ – „А я ровно столько же, Минин“. – „Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?“ – „Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?“ – „Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, идешь совсем не в ту сторону!..“, – „Нет, это ты идешь не туда, Минин“. Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин – туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем – куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи».

– В Петушки? – подсказал я с надеждой.

– Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

– А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

– Может быть, в Петушки? – я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. – В Петушки, да?..

– А на Курский вокзал – не хочешь?! Ха-ха! – И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. – И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! – а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...

– Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

– А вот увидишь – куда! Ха-ха! Увидишь!..

Покров – 113-й километр

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку – и растворился в воздухе... Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: «...» – и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом – Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все подымалась, разом опустилась на дно души и там затихла...

Три или четыре мгновения она, притихшая, там и лежала. А потом – потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души подскочила, одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло:

Вот – я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо – и «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?... Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю: если станция Покров оказалась справа, значит – я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди, выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано „...“».

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «...». Я поглядел налево: там так же красиво было написано «...». Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...

«Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы – все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика – чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?!

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик – вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточь свою мысль – а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом – миллион».

«Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской – за то, что ты благороден».

И вот – я запрокинулся, допивая свой остаток. И – сразу – рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

«Человек не должен быть одинок» – таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы – отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» – спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, – склонив голову вправо, ответил я сам себе. – Не век же рассматривать „...“ на вспотевших стеклах и терзаться загадкой!...»

И я пошел по вагонам. В первом – не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором – тоже никого; даже дождь не брызгал...

В третьем – кто-то был...

113-й километр – Омутище

...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять – копия с „Неутешного горя“, копия с тебя, Ерофеев», – сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, – чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

– Княгиня, – позвал я тихо.

– Ну, чего тебе? – отозвалась княгиня, глядя в окно.

– Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего...

– Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица... Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь...

«Это мне-то, в моем положении – молчать! Мне, который шел через все вагоны за решением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина плачет – а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад – и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме „скорби“ и „страха“, и после этого – и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..»

Я подумал и сказал:

– Княгиня!.. а, княгиня!..

– Ну, чего тебе опять?

– Нет у тебя уже гармонии. Не видно.

– Чего ж тебе тогда видно?

– Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

– Сам ты кустик, я вижу...

«Ну что ж, кустик, так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это «важное»?

– Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

– Чего ты мелешь?

– Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер?

– Он такой же твой, как и мой! – огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей – остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула:

– Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а, – протянул я восторженно, как давеча декабрист. – Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих – дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик... Через час – опять позвонил.

– Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спяну, ходить во всем желтом, до самой смерти, – так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

– Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет – как ты думаешь? Спал?

– В том вагоне – да, спал.

– А в этом – нет?

– А в этом – нет.

– Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

– Не знаю. Я сам спал – в этом вагоне.

– Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

– Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том – зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?

– Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

– Какая же это мысль?

– А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище – Леоново

Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь – когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?

– Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

– Ну, это ничего. Рожа – это ничего...

– И выпить тоже нет ничего, – подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепнулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то – знаешь? – немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

– А где же твоя княгиня, Петр?

– Она давно уже вышла.

– Куда вышла?

– В Храпунове вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове – вышла.

– Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай... Так, так... Самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему – понятия не имею. Да, да... вот теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гёте, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке... А я – нет, я и дома без шлафрока; я и на улице – в тапочках... А Шиллер-то тут при чем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер...

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал.

– Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты – смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

– Нет ничего. Все выпито.

– И во всем поезде нет никого?

– Никого.

– Так...

Я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума – тяжелая была дума...

Что я делал в это мгновение – засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким его назвать? – ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или 35.

А когда очнулся – в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души...

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...

– Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый – почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?»

– Я ничем не хлопал. Я спал.

– Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня, не моргая.

– Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

– Нет ничего. Все выпито.

– И во всем поезде никого-никого?

– Никого.

– Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, так кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь!..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да; он повалился на канделябр и погасил его собою – и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» – подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

– Возвратись, Петр! – я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. – Возвратись!

– Проходимец! – отвечал тот из-за окошка.

И вдруг – впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

– Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..

– Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у-у...

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?» Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали...

Леоново – Петушки

...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот – влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поглубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы...

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами:

«Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!...» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега.

– Куда вы? Куда вы все бежите?..

– Чего тебе?! Отвяжи-и-сь! Пусти-и-и-и!..

– Куда? И все мы едем – куда?..

– Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб – до того неожиданно, что я засмутился, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась – и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею...

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва – Петушки» летит под откос. Вздыхались вагоны – и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я заметался и крикнул:

– О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...

А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон

А потом, конечно, все закрубилося. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь – да, как будто туман. А если вы скажете – нет, то не туман, то пламень и лед – попеременно то лед, то пламень, – я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка, – подумал я. – Этот жаркий туман повсюду – от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках – ножик...

– Митридат, это ты, что ли? – мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. – Это ты, что ли, Митридат?..

– Я, – ответил понтийский царь Митридат.

– А измазан весь – почему?

– А у меня всегда так. Как полнолуние – так сопля текут...

– А в другие дни не текут?

– Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

– И ты что же, совсем их не утираешь? – я перешел почти на шепот. – Не утираешь?

– Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус – один любит распускать сопля, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние...

Я прервал его:

– Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

– Как зачем?.. да резать тебя – вот зачем!.. Спрашивает тоже: зачем?.. Резать, конечно...

И как он переменялся сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел – и куда только сопля девались? – и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты! – шептал я или кричал, не знаю. – Убери нож, убери, зачем...?» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика... «Перестань, Митридат, перестань...»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, опять правый, – я успевал только бессильно взвизгивать, – и забился от боли по всему перрону. И проснулся, весь в судорогах. Вокруг – ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. «Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже...»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихорадка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка – серпом по...цам. Я закричал – наверно, вслух закричал – и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось – и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, – я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная, я – в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто

тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик где твой? Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты „Василек“ и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл – ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь – деньги?.. О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа – время от закрытия магазинов до рассвета!..

Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, – то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше – то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: „Раз-два-туфли надень-ка как-ти-бе-не стыдна-спать...“ Самое главное – уйди от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушковых в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди...»

Петушки. Вокзальная площадь

«Если хочешь идти налево, Веничка, – иди налево. Если хочешь направо – иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят...»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, – и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа – смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро умру, я знаю, – умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, – умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» – я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я – что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, – я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... «Почему же ты молчишь?» – спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста? – найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу – а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось, – так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, – на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины – не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром – стон, вечером – плач, ночью – скрежет зубовой... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

Петушки. Садовое кольцо

Постучался – и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят...

«Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы – непомерно широкими, дома – странно большими... Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего: «Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму... Мене, текел, фарес – то есть „ты взвешен на весах и найден легковесным“, то есть „текел“... Ну и пусть, пусть...»

Но есть ли там весы или нет – все равно – на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал – и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть там весы, нет там весов – там мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, – я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы...

«Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо...»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулочек, и снова задрожал и заплакал...

И тут – началась история, страшнее всех, виденных во сне: в этом самом переулке навстречу мне шли четверо... Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых – вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета? – вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож... Впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

– Ну, вот ты и попался, – сказал один.

– Как то есть... попался? – голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

– А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

– А почему?..

– А потому.

– Слушайте... – голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью.

И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, – потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с этими. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы Его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал...

– Слушайте, – говорил я им, как умел, – вы меня пустите... что я вам?.. я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жалко... «Василек»...

– Какой еще василек? – со злобою спросил один.

– Да конфеты, конфеты «Василек»... и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает... но это чепуха... вот только дожждаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонкок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах я видел эти рожи?..

– Я хочу опять в Петушки...

– Не поедешь ты ни в какие Петушки!

– Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу...

– Не будет тебе никакого вокзала!

– Да почему?..

– Да потому!

Один размахнулся – и ударил меня по щеке, другой – кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались, – я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступали...

«Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад – все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..»

Я схватился за голову – и побежал. Они – следом за мной...

Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому

«А может быть, это все-таки Петушки?.. Может, крикнуть „караул“, хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят, не сморгнув. Может, и в самом деле Петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, – это же райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, – Он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, – Он это место обогнул и прошел стороной.

Не Петушки это, нет! Петушки Он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы Его ночлега – пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым.

Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони – я успел подумать: «Вот! Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил – и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда наткнулся на Курский вокзал. И вот теперь наконец увидел – когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..»

Неисповедимы Твои пути...

Топот все приближался – а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрал до Кремлевской стены – и рухнул. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» – такого вопроса у меня не было, я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят – тоже все равно. «Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, – вот все мои желания. Пронеси, Господь...»

Они приближались с четырех сторон, поодиночке. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги – они бы сразу убили меня...

– Ты от нас? От нас хотел убежать? – прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избивание!

– Ты ему в брюхо сапогом! Пусть корячится!

Боже! я вырвался и побежал – вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника – смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть – сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина – куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда – я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский...

Москва – Петушки. Неизвестный подъезд

Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул – я все еще надеялся... «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо...»

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять...

Весь сотрясаясь, я сказал себе «талифа куми». То есть «встань и приготовься к кончине»... Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине», это лама савах-фани. То есть: «Для чего, Господь, Ты меня оставил?»

«Для чего же все-таки, Господь, Ты меня оставил?»

Господь молчал.

«Ангелы небесные, они поднимаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!...»

И ангелы – засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю, – вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг – и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел – они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках – для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться – и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками; я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще – я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...

– Зачем-зачем?... зачем-зачем-зачем?... – бормотал я...

Они вонзили мне свое шило в самое горло...

Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах в Шереметьево – Лобня, осень 69 года

Эдуард Власов

Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки»

Спутник писателя

Предисловие

*No man alive will convert you
With another tale to tell.
You know that we shall meet again
If your memory serves you well.*

Bob Dylan

Все говорят: «спутник писателя», «спутник писателя». От всех я много слышал про него, а сам ни разу не видел. Потому и решил создать. К «Москве – Петушкам». Спутник писателя. Говорят, что такие спутники есть уже у Пушкина и Ильфа с Петровым. Но их почему-то авторы скромно называют «комментарием» или «спутником читателя». Хотя у Щеглова самый что ни на есть «спутник писателя». Да и у Лотмана тоже. Вот у Набокова – там уж точно «спутник читателя», а у Лотмана – нет, «спутник писателя».

Да мне, собственно, и не надо было писать «спутник читателя». Их уже до меня написали. Два больших и несколько маленьких. Хорошие «спутники» – ничего не скажешь. Только вот проблема – слегка однобоки. Ведь писались они всякий раз читателем и для читателя. А читатели-то все разные – это только писатели у них одинаковые. У каждого читателя свой идеал, вкус, свой угол зрения. Вот, например, первый – маленький, но весьма содержательный, «спутник читателя» – статья И. Паперно и Б. Гаспарова (1981). Они все там здорово показали. Только сквозь призму одного мотива – «встань и иди». Понятно, почему они сквозь этот мотив Ерофеева разглядывали: за окном – Тарту, 1980 год, сами авторы на пороге отъезда, то есть уже встали и вот-вот пойдут. Поэтому им дела никакого не было до мотива удушения («удавят, как мальчика»), закалывания («зарезут, как девочку») или, скажем, до тогда еще мало актуального трансвещного мотива («милая странница», «бабуленька – старая стерва», Красная Шапочка). Зачем думать о плохом или о странном, когда впереди хорошее? А во «встань и иди» ничего феноменального нет – это ноуменально, естественно.

В двух же больших «спутниках читателя» тоже много интересного. И С. Гайсер-Шнитман (1989), и Ю. Левин (1996) указывают на многие источники цитат, аллюзий и реминисценций, которыми изобилует поэма. Глаза поклонникам поэтической натуры Венички раскрывают. Ведь, как предполагала Ахматова, «может быть, поэзия сама – одна великолепная цитата». Однако и здесь все несколько односторонне. Растекаться мыслью по столу не стану, а приведу один лишь пример. По поводу известного описания творческого процесса Шиллера – с шампанским и тазом с ледяной водой – Гайсер-Шнитман честно пишет: «В просмотренных [sic!] мною биографиях Шиллера я не нашла указаний на упомянутый способ его вдохновения. Если учесть, что Шиллер жил очень скромно и был скорее [sic!] стеснен в средствах, а цена же на шампанское была очень высокой, можно предположить, что великий немец оказался жертвой петушинских цитатных страстей. Но не исключено, что в основе версии о пристрастии к шампанскому лежит какой-то реальный факт: например, своеобразная [sic!] любовь к гниющим яблокам, запахом которых вдохновлялся Шиллер, держа их в ящике письменного стола... или какая-то деталь того же рода». Натурально, читатель писал: «можно предположить», «не

исключено». Другой читатель, Левин, еще более лаконичен: «Творческий процесс Шиллера, как известно [sic!], стимулировал запах гниющих яблок; но ни о шампанском, ни о ледяной воде ничего не известно». Читателю не известно, а писателю известно. Он просто-напросто взял «жэзээловскую» биографию Шиллера и там прочитал и про шампанское, и про таз с ледяной водой. Что Ерофеев и сделал в свое время. То есть встал, пошел и прочитал. А потом написал. Поэму. Как сказал бы ему Гумилев, «начитался дряни разной, вот и говоришь». Только почему обязательно «дряни»? Ерофеев много чего прочитал... Не только дряни...

Поэтому я и взялся за «спутник писателя». То есть попытался не только определить, откуда что взято на уровне цитат и аллюзий в ерофеевских «стихах и дискуссиях о транспорте и об искусстве». Это еще не все. Ведь ерофеевские «Москва – Петушки» из чего только не сделаны. Они не только из реминисцентных блоков состоят. В них ведь речевых формул и маркированной лексики пруд пруди. Хромосомы текста поэмы разбросаны по обширным территориям как литературы, так и других родов искусств. И коль скоро «Москва – Петушки» – поэма, я выкурил на антресолях двенадцать трубок и решил уделить особое внимание именно поэтическим хромосомам, лирическим ДНК, из которых клонирован шедевр. Ведь «жасмин», «повилику» и «лилею» Ерофеев мог взять у кого угодно – у Брюсова, у Кузмина, у Анненского. Не знаем же мы до сих пор, царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот. Так что заранее извиняюсь за обилие примеров из поэтов – их можно пропускать, как главу «Серп и Молот – Карачарово».

А помимо поэзии надо еще помнить и прозу. Почему-то авторы «спутников читателя» ее забывают. Вернее, часть ее, идеологически, так сказать, помеченную, запятнавшую себя коллаборационизмом. Я классику соцреализма имею в виду. Например, в ней содержится ответ на вопрос о том, где это «пограничники шляются без дела и просят прикурить». Ни у Гайсер-Шнитман, ни у Левина ответа на этот вопрос нет. А это в школе проходят, про пограничников, в 10-м классе, а Ерофеев школу-то с золотой медалью окончил. Ведь именно в пределах школьной программы по литературе и истории находятся ответы на половину интеллектуальных загадок Ерофеева-Сфинкса. Почему нам так трудно без комментария Мандельштама с Брюсовым читать? Да только потому, что они хорошо в школе учились. Это для нас римская, древнегреческая и библейская мифологии – верх интеллектуального блаженства и интертекстуальности, а для бывших гимназистов – часть их обязательного среднего образования, рутина и повод для подзатыльников. Как поэзия, так и проза. Проза жизни, например. Почему-то никто из читателей не пишет, как играть в сику или как очищается политура (хотя это каждый младенец знает). А писатель должен знать все, в том числе и это, то есть как политура очищается, – этому в школе не учат, но если химию в 9-м классе хорошо усвоить, то своими мозгами дойти можно. До того, как политуру очистить. Правда, проза жизни – это не гимназическая проза. Это немножко другая история.

С историей, кстати, опять же надо осторожнее, тщательнее. Игнорировать ее не следует. Вот есть у Ерофеева безумный Митридат с ножиком в руках, так все почему-то – и Паперно с Гаспаровым, и Гайсер-Шнитман, и Левин – упорно видят в нем булгаковского Понтия Пилата. Только потому, что у него «в полнолуние сопли текут». Но ведь есть же не только беллетристика – есть еще и история, где про этого Митридата столько написано: и про то, как он людей резал, и про то, что ненормальным был. Читатель-то, может, это все и проглядел (мы теперь историю по Булгакову изучаем, хотя его Пилат не насморком, а головными болями страдал), но писатель типа Ерофеева – с таким шепетильным сердцем и манией к каталогизированию и систематизации – историю знать обязан. И знал, между прочим.

Короче говоря, я выкурил еще тринадцать трубок и решил запихнуть под одну обложку то, что должен знать и носить в своем сознании и своей памяти потенциальный автор очередных «Москвы – Петушков». Естественно, в разумном, то есть, увы, ограниченном объеме. Прямой адресат книги этой, стало быть, не иностранный почитатель «Москвы – Петушков»,

лезущий на стенку от непонимания аллюзий и цитат, а будущий Венедикт Ерофеев, так сказать, Ерофеев-2. Для него это обязательное чтение. Для всех остальных – факультативное. И пугаться этого чтения не следует – как кричал в свое время один из героев Рабле: «Дети мои, не бойтесь и не пугайтесь! Я поведу вас верным путем. С нами Бог и святой Бенедикт!» Для придания книжке солидности и ощущения преемственности поколений я привожу параллели использования отдельных лексем и образов не только в до-, но и в постерофеевской литературе, а также отсылаю к примерам схожего дискурса или творческого мышления из других областей – скажем, к кино или живописи. За компанию веселее как-то писателем становится.

Вообще-то, ерофеевская поэма удивительно мультимедийна (прекрасно сказано: «удивительно мультимедийна»!), – ее не на бумаге, ее на сидироме издавать надо. С видеоклипами из «Председателя» и «Бориса Годунова», с аудиофрагментами из «Цирюльника» и «Фауста». Ведь это о способе создания «Москвы – Петушков» Саша Черный писал:

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать, —

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты...

То есть чтобы не только «книжки милые», но и картинки всякие были («Неутешное горе», например), статуи («Рабочий и колхозница»), музыка чтоб звучала (Козловский чтобы мерзким голосом пел или трагический Шаляпин бы рокотал). Про кино, правда, Саша Черный в 1909 году еще серьезно не думал. Не присылали тогда еще из города на периферию неуравновешенных Трубниковых-Лоэнгринов колхозы из руин и пепла поднимать. А в остальном – все верно. Особенно про «мед искусства», который надо лить «в бездну русской пустоты». То есть чтобы из сидирома «Слеза комсомолки» капала. Но это – все в будущем. По крайней мере, в Интернете-то я помещу более пространный в мультимедийном плане «спутник писателя». А пока скажу спасибо старику Гуттенбергу.

И кое-кому еще. Естественно, данный труд поднять одному было не по силам. Прежде всего, я благодарю свою любимую жену Танечку за то, что она вложила в сии скорбные листы энергии, любви и нервов ничуть не меньше, чем незадачливый автор. Дочку свою, Сашеньку, также благодарю хотя бы за одно только настойчивое вопрошание: «Когда ты наконец своего Веню закончишь?» Большое спасибо Нине и Жене Анисимовым за помощь в ведении следствия и п.к.щ. Алексею Владимировичу Сивицкому – за ряд ценных житейских советов и рекомендаций. Благодарю и своего бесценного друга, профессора Slavic Research Center (университет Хоккайдо) Тецуо Мотидзуки, без помощи которого этот том никогда бы не увидел свет.

А вообще, данное издание я приурочил к юбилею Венедикта Ерофеева, которому «стукнет шестьдесят этой осенью».

Эдуард Власов 23 февраля 1998 г., Саппоро

1. Москва – Петушки. Поэма

1.1 С. 5. *Петушки* —

небольшой город на реке Клязьма, в 115 км к востоку от Москвы и, соответственно, в 67 км к западу от Владимира, районный центр Владимирской области. Статус города и свое название Петушки получили всего за четыре года до описываемых в «Москве – Петушках» событий – в 1965 г. До 1965 г. это был поселок с не менее странным названием Новые Петушки. На 1969 г. в Петушках проживало около 16 000 человек. Петушки, несмотря на свой крайне скромный вклад в экономику Владимирской области, являются конечным пунктом следования электричек, поскольку именно в Петушках заканчивается путь Московской железной дороги и начинается Горьковская (с 1997 г. Нижегородская) железная дорога. О реальном интересе к Петушкам Венедикта Ерофеева и его героя см. 14.12.

1.2 *Поэма*. —

Определение жанра прозаического повествования как поэмы восходит к «Мертвым душам» Гоголя, также названным автором «поэмой» и представляющим собой лирико-эпический травелог.

2. Уведомление автора

2.1 С. 7. *Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот – Карачарово», и совершенно напрасно. <...> По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот – Карачарово» всю бывшую там матрицину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены. —*

В одном из своих интервью Венедикт Ерофеев признавался: «А четвертой главы и не было, так и стояло: „И медленно [так в интервью]¹ выпил...“» (Нечто вроде беседы с Венедиктом Ерофеевым / Запись В. Ломазова // Театр. 1989. № 4. С. 34.).

Ближайшим литературным источником этого уведомления может считаться классическое обращение к читателям Пушкина в «Евгении Онегине»: «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу <...> От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого номера, осьмой над последней главою <...> и пожертвовать одною из окончательных строф» («Отрывки из Путешествия Онегина»).

¹ Здесь и далее все примечания в цитатах, оформленные квадратными скобками, принадлежат автору комментариев.

3. [Посвящение]

3.1 С. 8. *Вадим Тихонов* —

реальное лицо, ближайший друг автора со времен учебы во Владимирском педагогическом институте.

3.2 ...моему любимому первенцу... —

Традиционно первенец – это первый ребенок (в семье). Однако Тихонов родственных отношений ни с Веничкой из поэмы, ни с реальным Ерофеевым не имел, и от трактовки первенца как ребенка следует отказаться и искать иных прочтений, тем более что они уже имеются. Так, например, один из ближайших друзей писателя замечает: «Ерофеев очень любил своих персонажей, как Гоголь, – никого не обличал, потому и пластика вышла. И Тихонова любил, как Грибоедов – Булгарина. Тем более что Тихонов не имеет недостатков Булгарина. Тихонов теперь увековечен совершенно. Никто не понимает, что у Ерофеева „первенец“ – это первый ученик, первый, кто воспринял и тому подобное» (*Муравьев В. [О Вен. Ерофееве] // Театр. 1991. № 9. С. 92*). Сходная трактовка у Левина: «Первенец же он [Тихонов], видимо, в том смысле, что был первым (или одним из первых) читателях поэмы» (*Левин Ю. Комментарии к поэме «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева // Materialien zur Russischen Kultur. Bd. 2. Graz, 1996. S. 29*).

Учитывая широкое использование в тексте поэмы библейской лексики, следует заметить, что «первенец» встречается в обоих Заветах. Например, в Ветхом Завете: «[Иаков:] Рувим, первенец мой! ты – крепость моя и начаток силы, верх достоинства и верх могущества» (Быт. 49: 3); «Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой» (Иер. 31: 9). В Новом Завете под первенцем подразумевается Христос как первый (и последний) ребенок Иосифа и Марии: «Нако-нец Она родила Сына Своего Первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» (Мф. 1: 25); «И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли» (Лк. 2: 7); есть еще и: «От Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных» (Откр. 1: 5).

У Лермонтова первенцем назван херувим, впоследствии эволюционировавший в Демона: «Когда он верил и любил, / Счастливый первенец творенья!» («Демон», ч. 1, строфа I). У Тютчева в переложении «Оды к Радости» («An die Freude») Шиллера первенцем названа радость:

Радость, первенец творенья,
Дщерь великого Отца,
Мы, как жертву прославления,
Предаем тебе сердца!

(«*Песнь Радости (Из Шиллера)*», 1823)

Кроме того, отмечу того же «первенца» в «Гимне свету», который поет в опере Чайковского «Иоланта» (см. 24.7) Водемон: «Чудный первенец творенья, первый миру дар Творца» (либретто М. П. Чайковского по драме Г. Герца «Дочь короля Рене»); цит. по: *Протопопов В., Туманина Н. Оперное творчество Чайковского. М., 1957. С. 345*.

4. Москва. На пути к Курскому вокзалу

4.1 С. 9. *Курский вокзал* —

один из крупнейших вокзалов Москвы, расположен в восточной части Садового кольца; с этого вокзала в числе прочих отправляются пригородные электрички в города и населенные пункты, находящиеся на востоке и юге от Москвы, в том числе в Петушки.

В поэме Веничка идет к старому зданию вокзала, изначально выстроенному в 1896 г. и реконструированному в 1938 г. Современное здание Курского вокзала было введено в эксплуатацию два года спустя после написания «Москвы – Петушков» – в 1972 г. С Курского вокзала отправлялся в путешествие не только Веничка, но и объекты его интересов – например, молодой Вл. Ульянов-Ленин, который уезжал отсюда в сибирскую ссылку в 1887 г., о чем напоминает установленная здесь мемориальная доска.

В силу «прозаичности» ассоциаций или, скорее, их отсутствия, в литературе Курский вокзал фигурирует довольно редко, гораздо реже «обремененных» экстралингвистическими обертонами Ленинградского или Белорусского. Тем не менее встречается у поэтов – например, у равнодушного ко всему, что связано с железной дорогой, Пастернака. Его рассказчик, преследуя Спекторского, роняет: «Я жил тогда у Курского вокзала...» («Спекторский», ч. 9). Или у локомотивоподобного Маяковского: «И, глуша прощаньем свистка, / рванулся / курьерский / с Курского!» («Нашему юношеству», 1927). Или у его друга Асеева («Асеева Кольки»): «На Курском вокзале – большие составы...» («За синие дни», 1927).

4.2 *Все говорят: Кремль, Кремль.* —

Подобным зачином открываются «Моцарт и Сальери» Пушкина: «[Сальери:] Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет – и выше» (сц. 1).

4.3 *Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелью, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.* —

Данное признание героя с первых строк поэмы устанавливает определенный регистр повествования: далее следует характерный дискурс отверженного обществом и его традициями человека, отчаянного индивидуалиста и закоренелого изгоя. Игнорирование, вольное или невольное, Московского Кремля гостем столицы является открытым вызовом обычаю, делает его отверженным. Мандельштам в свое время писал:

Все чуждо нам в столице непотребной:
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.

(«Все чуждо нам в столице непотребной...», 1918)

Практически все порядочные и образованные люди, приезжая в Москву, начинают знакомство с ней именно с посещения Кремля и Красной площади. Словосочетание «проходил по Москве» вызывает в памяти одну из самых популярных песен в истории советской эстрады – «Я шагаю по Москве» (стихи Г. Шпаликова, музыка А. Петрова):

А я иду-шагаю по Москве,
И я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,

И тундру, и тайгу.

Песня звучала в классическом образце «оттепельного» советского кинематографа – непритязательной комедии «Я шагаю по Москве» (1964, «Мосфильм», режиссер Г. Данелия, автор сценария Г. Шпаликов). В фильме, действие которого начинается, как и в поэме, ранним утром, приехавший в Москву начинающий писатель (как и Веничка, «сибиряк» и «сирота») Володя Ермаков (актер А. Локтев) для начала отправляется именно к Кремлю, на Красную площадь.

Вообще, в искусстве и литературе Кремль был основополагающим образом в картине как дореволюционной, патриархальной России, так и коммунистического мироздания с его бравурным, жизнеутверждающим пафосом. Например, у Лермонтова:

Кто видел Кремль в час утра золотой,
Когда лежит над городом туман,
Когда меж храмов с гордой простотой,
Как царь, белеет башня-великан?

(«Кто видел Кремль в час утра золотой...», 1831)

У дореволюционного Брюсова:
Здесь, как было, так и ныне —
Сердце всей Руси святой,
Здесь стоят ее святыни,
За Кремлевскою стеной!

(«Нет тебе на свете равных...», 1911)

И у Брюсова постреволюционного:
Бессчетность глаз горит мечтами
К нам, к стенам Красного Кремля!
<...>
И – зов над стоном, светоч в темень, —
С земли до звезд встает Москва!

(«У Кремля», 1923)

У него же Кремль фигурирует в качестве цели: «И на площади, – мне сказывали, – / Там, где Кремль стоял как цель...» («Парки в Москве», 1920). А у Маяковского есть детское: «Начинается земля, / как известно, от Кремля» («Прочти и катать в Париж и в Китай», 1927).

Также упомянутый Ерофеевым в эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» классический герой социалистического реализма – самоотверженный летчик, «настоящий человек» Алексей Мересьев, будучи первый раз в Москве, ведет себя так, как подобает именно «настоящему человеку», а не отщепенцу Веничке:

«Алексея Мересьева направили после госпиталя долечиваться в санаторий Военно-воздушных сил, находившийся под Москвой. <...> уж очень хотелось ему посмотреть столицу. <...> Как же кругом хорошо! <...> казалось: протяни руку – и можно дотронуться до этих старых зубчатых, никогда невиданных им в природе кремлевских стен, до купола Ивана Великого, до громадной пологой арки моста, тяжелым изгибом повисшей над водой. Томный, сладковатый запах, висевший над городом, напоминал детство. Откуда он? Почему так взволнованно бьется сердце и вспоминается мать <...> Ведь они же с ней ни разу не бывали в Москве. До

сих пор Мересьев знал столицу по фотографиям в журналах и газетах, по книгам, по рассказам тех, кто побывал в ней, по протяжному звону старинных курантов в полночь, проносившемуся над засыпающим миром, по пестрому и яркому шуму демонстраций, бушевавшему в радио-продукторе. И вот она перед ним раскинулась, разомлевшая в ярком летнем зное, просторная и прекрасная. Алексей прошел по пустынной набережной вдоль Кремля <...> и медленно стал подниматься на Красную площадь. <...> Так вот ты какая, Москва!» (Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке», ч. 3, гл. 1).

Попасть на Красную площадь и в Кремль было заветной мечтой всякого здравомыслящего человека. Есть, к примеру, такой мемуарный текст:

«Когда я вспоминаю о советской Москве своих детских лет [1940-х гг.], я радостно вспоминаю прежде всего увешанную лозунгами улицу Горького с праздничной толпой на Седьмое ноября Первое мая дня Победы юбилея Революции. Мы с товарищем пытаемся прорваться через кордоны милиционеров, чтобы слиться с толпой демонстрантов, куда посторонним вход воспрещен. Потому что на демонстрацию назначают по списку. Потому что демонстранту дан пропуск на Красную площадь, где стоят на высокой трибуне вожди и каждый – член Политбюро. Красная площадь – сердце всей земли, и вожди охраняют это сердце, чтобы с ним не случился инфаркт. Честь и слава тому подростку, кто обойдет милицейские кордоны одному ему известными проходными дворами и, преодолевая заборы и заграды, сольется с толпой демонстрантов и незаконным образом, хотя и по полному праву, помашет рукой вождям с Красной площади. В перерывах между этими великими праздниками мы собирали окурки на тротуарах и раскуривали их на городском кладбище» (Зиник З. Эмиграция как литературный прием // Синтаксис. 1983. № 11. С. 170–171; орфография и пунктуация Зиника).

Фраза «сколько раз уже (тысячу раз)» задает цикличность всему происходящему в поэме: далее будет регулярное непопадание в Кремль, регулярные поездки к младенцу, последовательное отторжение Венички разного рода коллективами. Цикличность есть основа жизни, пускай и недостаточно радостной. Нарушение цикличности означает смерть, которой и завершается поэма, когда Веничка все-таки попадает на Красную площадь. У Блока, кстати, есть апелляция к «круговороту» событий, спроецированная на утреннюю прогулку по направлению к Кремлю:

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?

(«Все это было, было, было...», 1909)

4.4 С. 9. ...на Савеловском... —

То есть на Савеловском вокзале, находящемся в северной части Москвы. Поэма была написана «на кабельных работах в Шереметьево» (см. 48.1), и в ее тексте упоминаются Лобня и Долгопрудный (см. 12.28), электрички из которых также приходят на Савеловский вокзал. В случае с Венедиктом Ерофеевым опасаться за абсолютную достоверность топографии московского маршрута героя поэмы не стоит. В данном случае Веничка прибыл в Москву непосредственно из Шереметьева, а точнее – со станции Шереметьевская.

4.5 ...я, как только вышел на Савеловском, выпил... —

То есть выполнил практический совет Саши Черного: «В опросном полицейском листке, в графе „Для какой надобности приехал [в Москву]?“ – пиши: „Для пьянства“. Самый благонамеренный повод» («Руководство для гг. приезжающих в Москву», 1909).

4.6 Зубровка —

крепкая (40°) горькая настойка, приготовленная на одноименной траве по польскому рецепту. Изготавливается в основном в Польше, России и Чехии. В советское время была хорошо знакома не только Веничке, но и поэтам, например Пастернаку: «Зубровкой сумрак бы закапал...» («Все снег да снег, – терпи и точка», 1931).

Что касается стакана, то речь идет, без сомнения, о классическом советском граненом стакане из толстого дешевого стекла, объем которого равнялся 200 мл. Выпить стакан алкогольного напитка, не покупая целую бутылку в магазине, можно было в общепитовском заведении типа рюмочной или вокзального буфета, где спиртные напитки продавались в розлив. (Забавно, что изобретателем советского граненого стакана (точнее, изобретателем промышленного способа нанесения граней на стекло) является небезызвестная Вера Мухина, автор «Рабочего и колхозницы» (Коммерсант Daily. 1998. 7 февраля); см. также 43.11.)

4.7 С. 9. Декокт —

(лат. decoctum) – лечебный отвар, жидкое врачебное снадобье; встречается в прозе – у Достоевского: «Я был болен весь этот день <...> и на ночь принял декокт» («Униженные и оскорбленные», ч. 4, гл. 4) и в поэзии – у Пастернака: «Кашляет в шали и варит декокт» («Посвящение», 1916).

Символично, что Веничка начинает похмеляться именно с горьких настоек – зубровки и кориандровой. Горечь с первых строк поэмы становится одним из основных «вкусовых» ощущений, сопровождающих Веничку на протяжении всей поэмы.

4.8 ...на Каляевской... —

То есть на Каляевской улице, расположенной на севере Москвы. Улица названа по имени Ивана Каляева, русского эсера-террориста, казненного за убийство бомбой в феврале 1905 г. московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

4.9 Кориандровая —

крепкая (40°) горькая настойка, приготовленная на различных ароматных растениях, включая семена кориандра. Здесь продолжается «потребление горечи».

4.10 ...действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. —

Апелляция к Новому Завету. В Гефсиманском саду Иисус Христос произносит знаменитое: «Дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 41; Мк. 14: 38). В другом месте слова апостола Павла: «Я говорю: поступайте по духу <...> плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся» (Гал. 5: 16, 17), – именно в контексте этой сентенции Павла следует рассматривать Веничкино согласие с тем, «что и это антигуманно».

Здесь начинается последовательное сопоставление героя поэмы с Иисусом Христом, которое имеет целый ряд аналогий в классической литературе, ближайшая из которых – кроткий князь Мышкин из «Идиота» Достоевского, к которому вполне применим призыв все того же апостола Павла: «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4: 16).

Сходная языковая конструкция – с употреблением словосочетания «в высшей степени» – встречается у Зощенко, также в религиозно-«медицинском» контексте (в истории о выборах нового римского папы после смерти Сикста IV): «[Кардинал Перетта:] Ослаб в высшей степени, серьезно хвораю и думаю скоро протянуть ноги» («Голубая книга», отд. «Коварство», п. 18).

4.11 Жигулевское —

самый распространенный сорт советского пива, названный по месту изобретения рецепта изготовления, местности на Средней Волге – Жигули. У В. Катаева читаем: «...идет водка под соленые огурчики и жигулевское пиво, под моченый горошек и ржаные сухарики, уже выпили море» («Сорренто», 1965).

Об объемах кружек для питья пива см. 11.8. Стоимость большой кружки пива составляла в конце 1960-х гг. 22 копейки.

4.12 ...из горлышка... —

Пить прямо из горлышка (за неимением стакана, кружки или из нежелания ими пользоваться) – весьма распространенный способ употребления спиртного, причем не только в бывшем СССР. Способ этот упоминается как в прозе, так и в поэзии – например, у Аксенова: «Священник <...> стоял чуть в стороне от других и пил „праздрой“ мелкими глотками прямо из горлышка, а между глотками затягивался сигаретой» («Ожог», 1975); и у Высоцкого:

Я пил из горлышка, с устатку и не евши,
Но – как стекло был – остекленевший.
А уж когда коляска подкатила,
Тогда в нас было – семьсот на рыло!

(«Милицейский протокол», 1971)

4.13 С. 9. Альб-де-десерт —

(от *лат.* alb de desert) – белое десертное вино (15–17°); правильное написание не «альб», а «алб». По указанию Дмитрия Локая (электронное письмо Э. Власову от 2 февраля 1999 г.), в советскую эпоху это вино входило в группу дешевых молдавских вин, в названия которых в качестве первой составляющей входило обозначение их цвета: «алб» – белое, «роз» – розовое, «рошу» – красное, «негру» – черное, а вторая составляющая указывала на их разновидность: «де десерт» – десертное, «де масэ» – столовое, «де Пуркаръ» – Пуркарское и т. д.

4.14 Улица Чехова —

улица в северо-западной части центра Москвы, идущая параллельно Тверской (во времена Венички – улице Горького) и соединяющая Садовое кольцо с Бульварным.

4.15 Охотничья —

сорт крепкой (45°) горькой настойки, приготовленной на имбирном и других корнях с добавлением различных натуральных ароматизаторов (гвоздики, аниса, кофе и др.). У Ю. Домбровского читаем о своеобразном запахе напитка: «...у меня охотничья, от нее валерьяновой каплей шибает» («Хранитель древностей», ч. 2). Здесь также продолжается «потребление горечи».

4.16 Садовое кольцо —

см. 45.1.

4.17 *А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.* —

«Автоматическое/бессознательное хождение по отдаленным от центра столичным районам» – структурообразующий элемент «Преступления и наказания» Достоевского. Шатания Раскольникова по Петербургу во многом предвосхищают Веничкины походы по Москве:

«Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречающиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чем сейчас думал и даже где проходил. Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на Острова. Зеленъ и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался <...> Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и все близлежащие переулки, когда выходил без цели на улицу» (ч. 1, гл. 5).

«Он шел не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. <...> Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы, на Васильевском острове, подле моста. „... Что это, да никак я к Разумихину сам пришел! Опять та же история, как тогда... А очень, однако, любопытно: сам я пришел или просто шел да сюда зашел? Все равно; сказал я... третьего дня... что к нему после того на другой день пойду, ну что ж, и пойду!“» (ч. 2, гл. 2).

«По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную. <...> Он и прежде проходил часто этим коротеньким переулком, делающим колесо и ведущим с площади в Садовую. В последнее время его даже тянуло шляться по всем этим местам, когда тошно становилось, „чтоб еще тошней было“» (ч. 2, гл. 6).

В «Фаусте» Гёте Господь обращается к Мефистофелю: «Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange / Ist sich des rechten Weges wohl bewusst», то есть «Добрый человек в своем неясном стремлении всегда чувствует, где настоящая дорога» («Пролог на небе»). В переводе Пастернака: «Чутьем, по собственной охоте / Он вырвется из тупика»; в переводе Фета: «Добрый человек в своем стремлении темном / Найти сумеет настоящий путь».

4.18 С. 10. *...к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера – выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подьезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подьезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик – и так и уснул).* —

Здесь слышится переключка с бездомным героем Гамсуна: «Я шел, временами чувствуя тошноту. <...> я отправился на вокзальную площадь. Голова моя сильно кружилась; я шел дальше и старался не обращать на это внимание, но она кружилась все сильнее, и наконец мне пришлось присесть на лестнице» («Голод», гл. 1).

У Достоевского Раскольников также никак не может дойти до запланированной цели: «Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на Острова <...> Но и на Острова ему не суждено было попасть, а случилось другое: выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг

увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. <...> Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота» («Преступление и наказание», ч. 2, гл. 2).

Неведомый подъезд, который в финале поэмы станет неизвестным (см. 47.1), устанавливает топографическую цикличность событий, описанных в поэме.

4.19 ...сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую... —

Число 40, традиционное для мифологической поэтики, как и 3, 4, 13 и 30, входит в числовую символику поэмы. Здесь порядковый номер ступени ассоциируется с идеей вознесения в христианстве, которая развивается ниже (см. 4.27).

4.20 ...сел я вчера на ступеньку в подъезде... —

Веничкина бездомность, неустроенность рождает ассоциации с центральной фигурой Нового Завета: «[Иисус – книжнику:] лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20; Лк. 9: 58).

4.21 ...прижал к сердцу чемоданчик... —

Небольшие фибровые или фанерные чемоданчики были в СССР неотъемлемым аксессуаром образа скромного советского трудящегося; на знаковом социальном уровне они противопоставлялись кожаным портфелям чиновников и интеллигенции. Обычно такие чемоданчики сопровождали человека всю его жизнь, начиная с пионерского детства. Например, у Довлатова: «Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями и углами. Замок бездействовал. Пришлось обвязать чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: „Младшая группа. Сережа Довлатов“. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал „говночист“. Ткань в нескольких местах порвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде» («Чемодан», 1986).

Противопоставление портфеля и чемоданчика, советских реалий 1950–1960-х гг., встречается у Евтушенко:

Вдруг машина откуда-то выросла.
В ней с портфелем —
 символом дел —
гражданин парусиновый в «виллисе»,
как в президиуме,
 сидел.

(«Станция Зима», 1955)

У него же чемоданчик фигурирует как атрибут «литературной» поездки в электричке к желанному дому:

И чемоданчик твой овальный
(замок раскроется вот-вот!),
такой застенчиво-печальный,
качаясь, улицей плывет.

И будет пригородный поезд,
и на коленях толстый том,
и приставаний чьих-то пошлость,
и наконец-то будет дом.

(«Продавищица галстуков», 1957)

4.22 С. 10. ...я выпил еще на шесть рублей... —

Наиболее спорное с точки зрения следования элементарной житейской правде утверждение во всей поэме. Оспаривается, в частности, Левиным, который считает его «несколько гиперболизированным» (Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва – Петушки»... С. 31). Несложный математический подсчет показывает, что до момента засыпания на сороковой ступени неведомого подъезда Веничка выпил стакан зубровки, стакан кориандровой, две кружки жигулевского пива, бутылку (0,75 л) белого вина и два стакана «Охотничьей», что в перерасчете на деньги составило порядка 7–8 рублей. Таким образом, добавление чего-то «еще на 6 рублей», с учетом того, что в 1969 г. цена на бутылку водки составляла в зависимости от сорта не более 3 рублей 12 копеек, доводит объем выпитого Веничкой за день до 5–6 л алкоголя в целом или до 1,5–2 л в пересчете на чистый спирт. Насколько это реально, предлагается решать читателям, – писатели по традиции лишь представляют пищу для размышлений и оценок.

4.23 Во благо ли себе я пил или во зло? —

Стилизация под библейскую поэтику: у ветхозаветного пророка упоминаются «намерения во благо, а не на зло» (Иер. 29: 11).

4.24 Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот? —

Борис Годунов (ок. 1552–1605) – одна из центральных фигур русской истории рубежа XVI–XVII вв., после смерти сына Ивана Грозного царя Федора Ивановича, бывшего мужем его сестры Ирины, русский царь (с 1598 г.). Царевич Димитрий – Димитрий Иванович (1582–1591), сын Ивана IV Грозного.

Здесь Веничка затрагивает один из самых щекотливых вопросов русской истории, касающийся преждевременной смерти царевича Димитрия. При этом наречие «наоборот» имеет в данном контексте два прочтения, и сетование Венички можно трактовать двояко: либо царь Борис убил царевича Димитрия или царевич Димитрий убил царя Бориса, либо царь Борис не убивал царевича Димитрия.

Смерть царевича Димитрия в Угличе в мае 1591 г., где он вместе с матерью Марией Нагой с 1584 г. по приказу Бориса Годунова находился в фактической ссылке, имеет в русской истории минимум два гипотетических объяснения: 1) царевич Димитрий был зарезан по приказу Бориса Годунова, который хотел избавиться от законного претендента на русский престол; 2) царевич случайно закололся ножом в припадке эпилепсии.

Упоминание о царе Борисе и погибшем царевиче связано с Пушкиным и его «Борисом Годуновым» и с одноименной оперой Мусоргского, а также является характерным примером абсурдистской иронии Венички, так как в русской истории вопрос о возможном убийстве Бориса Годунова царевичем Димитрием до сих пор не возникал. Однако Левин, комментируя данное место, полагает, что гипотеза об убийстве Годунова Димитрием – «не такая нелепость, как может показаться», и далее, без ссылки на источник, пишет: «Царь Борис умер, „потрясенный успехами самозванца“ (как писал историк В. Ключевский) Лжедимитрия I, авантюриста, выдававшего себя за спасшегося Димитрия» (Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва – Петушки»... С. 31).

Как известно, Пушкин, работая над «Борисом Годуновым», использовал версию убийства царевича, которая была заимствована им из «Истории государства Российского» Карамзина. Одним из первых его оппонентов, в частности по этому вопросу, был критик-демократ Белинский:

«Прежде всего заметим, что Карамзин сделал великую ошибку, позволив себе до того увлечься голосом современников Годунова, что в убиении царевича увидел неопровержимо и несомненно доказанное участие Бориса... Из наших слов, впрочем, отнюдь не следует, чтоб мы прямо и решительно оправдывали Годунова от всякого участия в этом преступлении. Нет, мы в криминально-историческом процессе Годунова видим совершенную недостаточность доказательств за и против Годунова. Суд истории должен быть осторожен и беспристрастен, как суд присяжных по уголовным делам. Грешно и стыдно утвердить недоказанное преступление за таким замечательным человеком, как Борис Годунов. Смерть царевича Дмитрия – дело темное и неразрешимое для потомства. Не утверждаем за достоверное, но думаем, что с большею основательностью можно считать Годунова невинным в преступлении, нежели виновным <...> Как бы то ни было, верно одно: ни историк государства Российского, ни рабски следовавший ему автор „Бориса Годунова“ не имели ни малейшего права считать преступление Годунова доказанным и не подверженным сомнению» («Сочинения Александра Пушкина», статья 10-я, 1845).

Кроме сходных по структуре и содержанию утверждений (ср. «не знаем же мы вот до сих пор» и «мы <...> видим совершенную недостаточность доказательств»), отмечу попутно и тот факт, что в современном литературоведении существует мнение, что цитируемая статья Белинского стала одним из источников идейного замысла «Преступления и наказания» – романа, чрезвычайно важного для восприятия и понимания «Москвы – Петушков» (Альми И. Еще об одном источнике замысла романа «Преступление и наказание» // Русская литература. 1992. № 2. С. 95–100).

Сюжет этого энигматического эпизода русской истории – объект регулярных апелляций в русской литературе. У Кузмина есть стихотворение «Царевич Дмитрий» (1916), у него же:

И русский мальчик,
Что в Угличе зарезан,
Ты, Митенька,
Живи, расти, бегай!

(«Серым тянутся тени роем...», 1922)

У Цветаевой есть: «Голубь углицкий – Дмитрий» («За Отрока – за Голубя – за Сына...»; 1917), а Евтушенко, который также считал Бориса виновным, писал:

Ой, боярский правед, —
ночь при солнце ясном.
<...>
Звени народу, колокол,
заре
звени:
«Зарезали царевича,
заре-
за-
ли!»

(«Под кожей статуи Свободы», 1968)

4.25 С. 10. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. —

Неприятие гордого человека другими гордыми людьми (а Веничка, напомним, обладает «гордым сердцем»; см. 13.12) знакомо по «Цыганам» Пушкина, где гордый старик-цыган обращается к не менее гордому Алеко: «Оставь нас, гордый человек!» Позже этот антагонизм гордых людей был трансформирован Достоевским в «Пушкинской речи» в однобокую, библейского типа максиму: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость» («Дневник писателя» за 1880 г.).

В мифологической системе координат «медленное» имеет вполне конкретное фиксированное значение. Так, в своих лекциях по теории античного фольклора Ольга Фрейденберг замечала: «Эсхатологические, космогонические образы „зла“ и „добра“, „правого“ и „левого“, „низкого“ и „высокого“ могут соответствовать „бегу“ и „остановке“, „быстрому“ и „медленному“. В применении к ходьбе „быстрое“ дублирует „высокое“ и означает „небо“, „радость“, „веселость“. Напротив, „медленное“ повторяет метафоры „преисподней“, „низкого“, „печали“, „слез“» (Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1978. С. 61). И герой Гамсуна в свое время замечал: «А там, на небесах, восседал Бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо» («Голод», гл. 1).

4.26 Я вышел на воздух, когда уже рассвело. —

Очередная апелляция к евангельской сцене борения и ареста Христа в Гефсиманском саду (Мф. 26: 36–57; Мк. 14: 32–50; Лк. 22: 39–71; Ин. 18: 1–23): Веничка-Христос выходит из своего подъезда-сада, в котором в финале найдет свою гибель.

Сцена пробуждения героя на рассвете в московском топосе встречается в русском искусстве регулярно. Например, Лев Толстой о Пьере Безухове:

«Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидел сначала темные купола, кресты Новодевичьего монастыря, увидел морозную росу на пыльной траве, увидел холмы Воробьевых гор и <...> услышал звуки летевших из Москвы через поле галок, и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река, все заиграло в радостном свете, — Пьер почувствовал новое, не испытанное им чувство радости и крепости жизни. И чувство это не только не покидало его во все время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения» («Война и мир», т. 4, ч. 2, гл. 12).

У Евтушенко есть сцена, близкая по поэтике и по сюжету, включая дворников и неудачный ранний визит в ресторан:

Светало. Было холодно и трезво.
У двери с черной вывескою треста,
нахохлившись, на стуле сторож спал.
<...>
Я вышел, смутно мир воспринимая,
и, воротник устало поднимая,
рукою вспомнил, что забыл часы.
Я был расслаблен, зол и одинок.
<...>
...Я шел устало дремлющей Неглинной.
Все было сонно: дворников зевки,
арбузы в деревянной клетке длинной,
на шкафчиках чистильщиков — замки.
Все выглядело странно и туманно...
<...>
...Кто-то, в доску пьян,

стучался в ресторан «Узбекистан»,
куда его, конечно, не пускали...

(«Сквер величаво листья осыпал...», 1957)

У Сологуба есть сходные настроения:

Холодный ветерок осеннего рассвета
Повеял на меня щемящею тоской.
Я в ранний час один на улице пустой.
В уме смятение, вопросы без ответа.

(«Холодный ветерок осеннего рассвета...», 1893)

Можно вспомнить и «Рассвет на Москве-реке» – увертюру к опере Мусоргского «Хованщина», как и «Москва – Петушки», заканчивающейся крайне трагически.

Помимо этого, начало «Москвы – Петушков» (именно в части, связанной с блужданием Венички по утренней столице в поисках утоления жажды) пародирует начало романа Гамсуна «Голод» (1890). Главный герой «Голода» – как и Веничка, повествователь, пария и сочинитель, и роман начинается с пробуждения героя и началом его бесконечных прогулок по Христиании (Осло) в поисках пищи, причем действие также происходит осенью:

«Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать... <...> По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки... <...> Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе» (гл. 1).

4.27 С. 10. *Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, – все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.* —

Это патетическое откровение Венички имеет несколько источников. По православной традиции на сороковой день после смерти человека его душа получает наконец благодатную помощь Отца Небесного и приходит на поклонение Богу, чтобы тот выбрал душе сообразное место – в аду или в раю. Таким образом, сойдя по этим сорока ступеням, Веничка становится объектом Высшего суда.

В евангельском предании Святой Дух вывел Христа в пустыню, где тот затем держал сорокадневный пост, после которого «взлзал», то есть выпил: «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взлзал» (Мф. 4: 1–2; Лк. 4: 2). Данный обряд описан уже в Ветхом Завете, где Моисей говорит: «Я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел, и воды не пил. <...> По окончании же сорока дней и сорока ночей, дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета» (Втор. 9: 9, 11). То есть «постившийся» всю ночь Веничка, подобно Моисею и Иисусу, сходит с горы (или выходит из пустыни), чтобы в прямом смысле слова взлзкать.

В «Божественной комедии» Данте фигурирует метафорическое «трудное схождение / восхождение по ступеням чужой лестницы» (*com'è duro cable / Lo scendere e il salir per l'altrui scale*):

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.

(«Рай», песнь XVII, строки 58–60)

Это назидание Данте эксплуатировалось литераторами и до Венички. Например, у Пушкина: «В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи?» («Пиковая дама», гл. 2); у Мандельштама: «С черствых лестниц, с площадей... / Алигьери пел мощней» («Слышу, слышу ранний лед...», 1937).

Помимо этого, с учетом очевидной «зависимости» «Москвы – Петушков» от «Преступления и наказания», Веничкин спуск по лестнице в соответствующем физическом и духовном состоянии соотносится с постоянным схождением с лестниц Раскольников: «Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило» (ч. 1, гл. 5); «Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить свои тринадцать ступеней» (ч. 1, гл. 6); «Он вышел; он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правой рукой об стену» (ч. 6, гл. 8).

4.28 С. 10. ...пидор в коричневой куртке скребет тротуар. —

Пидор (груб., разг.) – педераст; здесь использовано исключительно как ругательство; у Довлатова читаем: «– Могу я чем-то помочь? – вмешался начальник станции. – Убирайся, старый пидор! – раздалось в ответ» («Чемодан», 1986).

4.29 Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо. —

Пародируется традиционная фольклорная ситуация «витязя на распутье», читающего соответствующие предсказания на дорожном камне у развилки обычно трех дорог о возможных удачах и неприятностях в случае выбора одной из них. В менталитете русского человека неизменно ассоциируется с растиражированным в репродукциях для общественных мест – ресторанов, вокзалов, парикмахерских и проч. – полотном Виктора Васнецова «Витязь на распутье».

Литературным источником пассажа является былина «Царь Саул Леванидович и его сын», в которой сын Саула – Констентинушка Саулович

И наехал часовню, зашел богу молиться,
А от той часовни три дороги лежат.
А и перва дорога написана,
А написана дорога вправо:
Кто этой дорогой поедет,
Конь будет сыт, самому смерть;
А другою крайнею дорогою левою:
Кто этой дорогой поедет,
Молодец сам будет сыт, конь голоден;
А середнею дорогою поедет —
Убит будет смертью напрасною.

(Былины. Л., 1957. С. 210)

Сюжет быliny аналогичен сюжету «Москвы – Петушков», только в перевернутом виде: сын царя Саула, родившийся в его отсутствие, едет на поиски отца, и конечной целью его поездки является встреча с отцом. Здесь же наличествует и типично «ерофеевская» путаница: разницы между выбором правого и среднего пути для молодца практически нет. Веничка, есте-

ственно, выбирает дорогу направо, где ему «самому смерть», то есть уже в первой главе поэмы предвосхищает ее финал.

Следует учесть также, что на всякой географической карте, схеме или плане правая сторона отдается востоку, с которым ассоциируется концепция «Москва – третий Рим» и, соответственно, Кремль как его оплот. Например, у Брюсова:

И все, и пророк и незоркий,
Глаза обратив на восток, —
В Берлине, в Париже, в Нью-Йорке
Видят твой огненный скак.

Там взыграв, там кляня свой жребий,
Встречает в смятении земля
На рассветном пылающем небе
Красный призрак Кремля.

(«К русской революции», 1920)

4.30 С. 10. *Веничка* —

уменьшительно-ласкательная форма имени Венедикт. Именно с этого места текст «Москвы – Петушков» может рассматриваться как автобиографическая проза.

Прием использования реальным автором или повествователем «нежной» формы имени или фамилии для своего alter ego, действующего в тексте, имеет в литературе достаточно широкое применение: от «Двойника» Достоевского, где Голядкин обращается к самому себе: «Голядка ты этакой!» (гл. 6), до автобиографической повести Эдуарда Лимонова «Это я – Эдичка» или лирики Евтушенко: «Брось ты, Женечка, / осуждающий взгляд» («Снова грустью повеяло...», 1955).

4.31 ...чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! —

Традиционный для литературы и искусства мотив страданий «маленького человека, раздавленного большим / столичным городом», в терминах кинематографа – типичный чаплинск, отягощенный парадигматическими ситуациями (сон в недомашних условиях, враждебность окружающей среды). Например, у Пушкина:

...Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
<...>
...Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...
Раз он спал
У невской пристани.
<...>

Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился, и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С поднятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые...

(«Медный всадник», ч. 2)

Здесь эти сторожевые львы соотносимы со «звериным оскалом бытия» (см. 6.21).

4.32 *А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки? —*

Подобное душевное состояние описано Розановым: «В мышлении моем всегда был какой-то столбняк» («Опавшие листья», короб 1-й). А в алкогольном контексте и Анненским при помощи цитат из «Преступления и наказания»:

«„Пас! и он стукнул опять водки“.

„Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге“» («Искусство мысли. Достоевский в художественной идеологии», 1909).

4.33 *И куда-нибудь да иди. Все равно куда. —*

В литературе призыв идти хотя бы куда-нибудь, только бы идти, встречается регулярно и в самых разнообразных контекстах. В Библии, например, звучит слово Господне пророку: «Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни обратилось лице твое» (Иез. 21: 16). У Кэрролла примечателен диалог Алисы и Чеширского Кота:

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.

– Мне все равно... – сказала Алиса.

– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот.

– ... только бы попасть куда-нибудь, – пояснила Алиса.

– Куда-нибудь ты обязательно попадешь, – сказал Кот. – Нужно только достаточно долго идти.

С этим нельзя было не согласиться.

(«Приключения Алисы в Стране чудес», гл. 6, пер. Н. Демуровой)

4.34 *С. 10. Если даже ты пойдешь налево – попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Курский вокзал. —*

Предопределенность происходящего – регулярный мотив пророческо-риторических текстов типа ветхозаветного «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екк. 1: 9) или поговорки «Все пути ведут в Рим».

В «Преступлении и наказании» Раскольников постоянно находится «на распутье»: «Тяжелое чувство сдавило его сердце; он остановился посередине улицы и стал осматриваться: по какой дороге он идет и куда он зашел? Он находился на – ском проспекте, шагах в тридцати или в сорока от Сенной, которую прошел. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. <...> Он было хотел пойти назад, недоумевая, зачем он повернул на – ский проспект...» (ч. 4, гл. 3). Примечательны и мысли Раскольникова о Соне Мармеладовой, которой, как и Веничке,

предстоит из трех дорог выбрать последнюю, причем не самую оптимистичную: «„Ей три дороги, – думал он: – броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце“. <...> последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее» (ч. 4, гл. 4).

4.35 *Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть. —*

Кроме выбора дороги к смерти (см. 4.29), мудрый Веничка следует обозначенной в Ветхом Завете системе координат: «Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глупого – на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла» (Екк. 10: 2–3).

4.36 *С. 11. О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! —*

То есть время от восхода солнца до 7 или 8 часов утра. В 1960–1970-е гг. продовольственные магазины с винными отделами открывались не ранее 7 часов. Одновременно Веничка имитирует поэтику библейских изречений типа: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!» (Екк. 1: 2). Существительное «тщета» также встречается в Библии: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего» (Флп. 3: 7–8).

4.37 *Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! —*

Здесь приведены автобиографические детали, касающиеся судьбы и внешности реального Венедикта Ерофеева: «В этом государстве всяческого партийного контроля и кагебешного учета Веня семнадцать лет (с 1958 по 1975) жил без „прописки“, то есть – никому в мире никогда не понять! – просто не существовал как житель государства» (*Черноусый [Авдиев И.]*. Некролог, «сотканый из пылких и блестящих натяжек» // *Континент*. 1991. № 67. С. 321); «Контора Венедикта была в Москве, жил он где придется, у него никогда не было своего дома. Неустройство было ужасное» (*Любчикова Л.* [О Вен. Ерофееве] // *Театр*. 1991. № 9. С. 81); «[у Ерофеева] Глаза голубые, волосы темные» (*Ерофеева Г.* [О Вен. Ерофееве] // *Театр*. 1989. № 9. С. 87).

4.38 *Иди, Веничка, иди. —*

Перифраз основного мотива поэмы – «встань и иди» (см. 26.17). В Новом Завете читаем: «И сказал Иисус сотнику, иди, и, как ты веровал, да будет тебе» (Мф. 8: 13).

5. Москва. Площадь Курского вокзала

5.1 С. 11. *Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получай свою суету...* —

Апелляция к Екклесиасту (см. 4.36) и к другому месту из Ветхого Завета: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» (Пс. 92: 11).

5.2 С. 11. *Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?»* —

Компиляция новозаветных положений об отношении к ближайшим родственникам. Здесь накладываются друг на друга: 1) речь Иисуса (Искупителя) перед избранными апостолами, содержащая среди прочего следующие утверждения: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца и мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10: 36–37; Мих. 7: 6); 2) связанное с предыдущим обращение Христа к толпе поклонников: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14: 26); ср. также: «Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто мать Моя, и кто братья Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и мать» (Мф. 12: 46–50; Мк. 3: 31–35).

Формулировка обращения Христа к матери в комментируемом фрагменте поэмы также восходит к Библии: «[Бесноватый:] Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин?» (Лк. 4: 34); «[Бесноватый:] что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» (Мк. 5: 7). Также ощущается влияние известной сцены свадьбы в Кане Галилейской, при этом отметим ее непосредственную связь с вином: Иисус с матерью пришли на свадьбу, и Мария увидела, что на столах нет вина, – тогда Христос произнес: «Что Мне и Тебе, Жено?» (Ин. 2: 4), а затем обратил воду в вино, тем самым совершив свое первое чудо (Ин. 2: 6–11).

5.3 *А уж тем более мне – что мне до этих суетящихся и постылых?* —

У Тютчева есть созвучные строки:

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд, —
Ах, людям есть кого любить,
Что им до наших нужд!

Так! что вам до меня?
Что вам беда моя?
Она лишь про меня, —
С ней не расстанусь я!

(«Из „Вильгельма Мейстера“ Гёте», 1829)

5.4 *...кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково... О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?* —

У Сологуба ангел поджидает героя в переулке:

Там, где улицы так гулки,
Тихо барышня идет,
А ее уж в переулке
Близко, близко ангел ждет.

(«Там, где улицы так гулки...», 1911)

В контексте упоминания о ночлеге на лестнице (см. 4.18) в частности и в целом – о ночлеге в замкнутом пространстве и утреннем выходе на воздух появление ангелов вполне закономерно и отсылает к Библии. В Ветхом Завете: «[Иаков] пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. 27: 11–12). В Новом Завете, в сцене в Гефсиманском саду, после обращения Христа к Отцу: «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22: 43). Вообще в Писании Христос постоянно общается с ангелами: «Тогда оставляет Его диавол, – и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4: 11); также Христос обращается к Нафанаилу: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и снисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1: 51).

Пение ангелов слышит подле себя и герой Гамсуна: «Сердце мое замирает, вокруг меня витают ангелы, я слышу их пение, они касаются моих век, садятся мне на волосы, и от их дыхания все помещение постепенно наполняется удивительным ароматом» («Мистерии», гл. 8).

Постоянно присутствуют ангелы рядом с лирическими героями у самых разных поэтов (зачастую вместе с другими мотивами, образами и деталями, задействованными в «Москве – Петушках»).

У Франсуа Вийона:

Я душу смутную мою,
Мою тоску, мою тревогу
По завещанию даю
Отныне и навеки Богу
И призываю на подмогу
Всех ангелов – они придут,
Сквозь облака найдут дорогу
И душу Богу отнесут.

(«Большое завещание»)

У Надсона (вкупе с розами, негой и благоуханиями):

Ни ангелов, сияющих в лазурных небесах,
Ни роз, благоухающих в задумчивых садах,
Ни неги ослепительных, полуденных лучей
Я не сравню с Зюлейкою, красавицей моей.

(«Из Боденштедта», 1880)

У Фофанова (о «рассеянной» прогулке по Петербургу):

Столица бредила в чаду своей тоски,
Гонясь за куплей и продажей.
Общественных карет болтливые звонки
Мешались с лязгом экипажей.

<...>

Я шел рассеянно; аккорды суеты
Мой робкий слух не волновали,
И жадно мчались вдаль заветные мечты
На крыльях сумрачной печали.

<...>

И веяло в лицо мне запахом полей,
Смущало сердце вдохновение,
И ангел родины незлобивой моей
Мне в душу слал благословенье.

(«Столица бредила в чаду своей тоски...», 1884)

У Блока (с лилиями и заповеданностью):

Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.

(«Верю в Солнце Завета...», 1902)

У Гумилева встречается: «Ангелы нам пели с высоты...» («Франция», 1918). Любезные и вежливые беседы с ангелами любил вести лирический персонаж В. Маяковского, не забывая при этом и «бездну» (см. 8.4):

В облаке скважина.
Заглядываю – ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович;
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна – восторг!»

(«Человек», 1916–1917)

В поственичкиной литературе ближайшие ассоциации вызывает известный текст Бориса Гребенщикова, где также проецируются друг на друга темы утреннего похмелья, Кремля и ангельской доброты:

Уже прошло Седьмое ноября,
Утихли звуки шумного веселья,
Но что-то движется кругами и все вокруг там, где стою я,
Должно быть, Ангел Всенародного Похмелья.

Крыла висят, как мокрые усы,
И веет чем-то кисло и тоскливо,
Но громко бьют на главной башне позолоченные часы,
И граждане страны желают пива.

Бывает так, что нечего сказать, —
Действительность бескрыла и помята,
И невозможно сделать шаг или хотя бы просто встать,
И все мы беззащитны, как котята.

И рвется враг подсыпать в водку яд,
Разрушить нам застолье и постелье,
Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд, —
Должно быть, Ангел Всенародного Похмелья...

Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд...
Хранит нас Ангел Всенародного Похмелья...

(«Ангел Всенародного Похмелья», 1982)

5.5 С. 11. *А ты походи, легче будет...* —
Вариант мотива «встань и иди» (см. 26.17).

5.6 ...а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут... —

Красненькое – уменьшительно-ласкательное от «красное», что в просторечии является эквивалентом к слову «вино» как противопоставленного водке; ср. у М. Горького: «Разрешите рекомендовать померанцевую водочку-с? Отличная! И красненькое, бордо, очень тонкое, старенькое!» («Жизнь Клима Самгина», ч. 2).

Ниже Веничка уточнит, что это было «Розовое крепкое» (см. 7.16).

В конце 1960-х гг. в СССР действовало ограничение времени продажи крепких спиртных напитков (главным образом водки и коньяка): они начинали продаваться с 9 часов. Проницательный читатель поэмы, он же друг Венедикта Ерофеева и прототип Черноусого, как-то в разговоре с автором заметил: «— Веня, а почему у тебя в поэме водку в магазине дают с девяти, а ты на электричку 8 часов 16 минут шел с чекушечками. Значит, и в поэме была незримая Маруська... — Еще как была, повсюду...» (*Авдиев И. [О Вен. Ерофееве] // Театр. 1991. № 9. С. 110*). Упоминание о Маруське связано с другим эпизодом тех же мемуаров, в котором Авдиевым разъясняется, как они с Ерофеевым и прототипом другого персонажа поэмы покупали в Москве водку в столь ранние часы; при этом инструктаж проводит сам Ерофеев:

«— Магазин еще закрыт, но Маруська уже там. Надо только зайти со двора и постучать – помнишь тему рока в Пятой симфонии Бетховена? И в деревянный лоток окошка, куда хлеб разгружают. Лоток выдвинется. Туда положишь деньги из расчета два восемьдесят семь за

поллитра и по полтиннику сверху за неурочность и смягчение Маруськиной неподкупности. Всегда нужно мужественно малостью польстить женской неуступчивости» (Там же. С. 106).

Данный эпизод можно рассматривать и как реальный комментарий к замечанию Венички об «уважении хорошей бабы» (см. 26.10).

5.7 Херес —

советское крепленое вино (до 20°), изготавливавшееся (например, в Крыму и Молдавии) по технологии классического испанского jerez-a. См. также 6.13.

5.8 С. 12. Веня —

уменьшительная форма имени Венедикт. В умных разговорах о современной российской словесности Венедикта Ерофеева чаще называют Веней, нежели Веничкой (форма «Веничка» остается закрепленной за главным героем поэмы).

5.9 *И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, — не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов.* —

Любчикова вспоминает о заботе Венедикта Ерофеева о своем сыне, жившем с матерью «за Петушками» (см. 14.12), в деревне Мышлино: «Он непременно что-то вез в Мышлино, когда ездил туда <...> Он сыну все время возил какие-то подарки, как и написано в „Петушках“» (Любчикова Л. [О Вен. Ерофееве]. С. 80, 81).

5.10 Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а повлекся. —

Одна из вариаций мотива «встань и иди» (см. 26.17). По наблюдению Земляного, здесь отсылка к афоризму Сенеки «Судьбы ведут того, кто хочет, и влекут того, кто не хочет» (*Земляной С.* «Пусть все видят, что я взволнован»: о дискурсе поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» // Независимая газета. 1998. 4 июня. С. 14). Повлечся – начать двигаться против своей воли, под воздействием сторонней силы, стать ведомым кем- / чем-либо. Пророк говорил в свое время: «Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами» (Ам. 4: 2).

Медленное, через силу, передвижение по большому городу лирического героя, растерянного и страдающего, характерно для поэтов; например, для Полежаева, у которого лирический герой бредет, как и Веничка, по Москве: «Повлекся к лестнице парадной машинально» («День в Москве», 1832); или для Евтушенко, у которого персонажи влекутся по заграничным городам:

Бредет Гастон
по рю Драгон.
Штаны спадают,
И за людей,
за дураков
глаза страдают.
Небритый,
драный,
весь в грязи...

(«Чудак Гастон», 1965)

Я бреду,

голодая по братству,
спотыкаясь,
бреду сквозь века...

<...>

Я измотан,
истрепан,
изранен.

(«Колизей», 1965)

Я брел в растерянности жалкой,
гигантской соковыжималкой
гудела жизнь. Я был смятен.

(«Римские цены», 1965)

5.11 С. 12. *Два или три раза я останавливался – и застывал на месте... <...> ...я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.* —

Прерывистое, с остановками, движение по столице наблюдается у неуравновешенного героя-страдальца Гамсуна, у которого, как и у Венички, нет в столице собственного угла:

«Только бы мне найти какое-нибудь пристанище на ночь! Я раздумываю, где мне лучше всего заночевать; этот вопрос так занимает меня, что я останавливаюсь посреди улицы. Я забываю, где я, стою, как одинокий бакен в море, а вокруг плещут и бушуют волны» («Голод», гл. 1).

«Выйдя из дома, я остановился посреди улицы...» (гл. 2).

«...Я вышел на площадь, к стортингу. Остановившись как вкопанный, я смотрю на извозчиков <...> я некоторое время стою на месте. Потом снова плетусь к вокзалу. <...> Я вдруг остановился. <...> Я стою и размышляю» (гл. 3).

5.12 *Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона.* —

Ерническое апеллирование к православной идее триединства Божьего – существованию, соответственно, Бога Сына, Бога Святого Духа и Бога Отца, а также к фрейдизму, изучающему мистическую, «подсознательную» сторону человеческой личности.

5.13 *Сверхчеловек* —

термин в истории философии связан прежде всего с Ницше и его книгой «Так говорил Заратустра» (1883–1884); впрочем, до Ницше встречается и у Гёте: «Ну что ж, дерзай, сверхчеловек!» («Фауст», ч. 1, «Ночь», пер. Б. Пастернака).

5.14 *Божье милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн!* —

Аллюзия на тайны Господни. В контексте отсылок к пирам Валтасара (см. 45.4) отмечу слова пророка: «Чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне» (Дан. 2: 18). Это восклицание о тайнах предвосхищает появление «текеда» в конце поэмы, поскольку и оно, и «текел» связаны с одним и тем же пророком: «Царь сказал Даниилу <...> можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоём были такие: ты, царь, на ложе

твоим думал о том, что будет после сего? И Открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его» (Дан. 2: 26–31).

Попутно, через упоминание об истукане, подготавливается ситуация сооружения «столба» на площади Курского вокзала «в назидание народам древности» (см. 7.10).

О Господних тайнах сказано и в других книгах Библии: «Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24: 14); «Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства» (Сир. 1: 30); «Ум и будет размышлять о тайнах Господа» (Сир. 39: 9); «Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3: 7); «Внимай мне, и я научу тебя, и изъясню тебе то, что устрашило тебя: ибо Всевышний откроет тебе многие тайны» (2 Езд. 10: 38) и т. д. Всего же в Библии, помимо Господних, насчитывается великое множество тайн: «тайна царева» (Тов. 12: 7, 11); «тайны премудрости» (Иов. 11: 6); «тайны сердца» (Иов. 31: 27; Пс. 43: 22; 1 Кор. 14: 25); «тайна благовествования» (Еф. 6: 19); «тайна беззакония» (2 Фес. 2: 7); «тайна благочестия» (1 Тим. 3: 16); «тайна семи звезд» (Откр. 1: 20); «тайна – Вавилон, великая блудница» (Откр. 17: 5); «тайна жены и зверя» (Откр. 17: 7), – в общем, действительно «непроницаемая завеса».

Вспоминаются слова царского лекаря Елисея Бомелия в опере Римского-Корсакова «Царская невеста» (1899): «Много в мире есть сокровенных тайн, / Много сил неразгаданных» (д. 1).

6. Москва. Ресторан Курского вокзала

6.1 С. 12. – *Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный люттик. —*

Традиционная для литературы и искусства сцена унижения маленького и беззащитного человека ничтожеством, наделенным властью. У Достоевского есть наблюдение:

«...Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir. „Дай-ка, дескать я покажу над тобою мою власть“... И это в них до административного восторга доходит... En un mot, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, – mais c'est tres curieux, – выгнал, то есть буквально выгнал, из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes, прелестных дам, пред самым началом великопостного богослужения – vous savez ces chants et le livre de Job... единственно под тем предлогом, что „шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время...“, и довел до обморока... Этот дьячок был в припадке административного восторга, et il a montre son pouvoir...» («Бесы», ч. 1, гл. 2).

А у Мандельштама есть такое признание лирического героя:

У меня не много денег,
В кабаках меня не любят.
<...>
Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать.

(«У меня не много денег...», 1913)

Из обилия параллельных «ресторанных скетчей» мне приглянулся хронологически близкий (1955) «Москве – Петушкам» классический самиздатовский текст Абрама Терца, где, хотя к герою относятся диаметрально противоположно, дух советского ресторана передан точно:

«У Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан „Киев“ и едва переступает порог, уже бегут напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

– Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина – красное и белое, или есть еще такое: „Розовый мускат“. Одним словом – вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

– Нет, – говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой, – я решительно воздерживаюсь... Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки – белая головка – 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтоб изюм пожирнее.

И сейчас же официанты – в количестве трех человек – откупоривают цветные бутылки и шелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы и передер-

гивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: „Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!“ – и вопросительное хохотание женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами или, изогнувшись над столиком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в стаканы – падающим, коротким движением» («В цирке»).

6.2 С. 13. *Бефстроганов* —

классическое горячее блюдо советского общепита, лишь отдаленно напоминающее своего прародителя – *boeuf Stroganov*; советский бефстроганов представляет собой полоски говядины, тушенные в соусе (иногда с добавлением соленых огурцов); подавался в советских ресторанах, кафе и столовых с гарниром из гречневой каши, риса, картофеля или макаронных изделий.

6.3 ...*послушать Ивана Козловского*... —

Послушать – здесь, разумеется, по радио. Иван Семенович Козловский (1900–1993) – известный советский тенор, в 1926–1954 гг. солист Большого театра, обладатель многих правительственных наград, включая три ордена Ленина и Государственную премию СССР, – одним словом, «певец-лауреат». Исполнял партии в операх, литературные источники которых так или иначе входят в контекст «Москвы – Петушков» (Юродивый – «Борис Годунов», Фауст – «Фауст», Ленский – «Евгений Онегин», Лоэнгрин – «Лоэнгрин», Альмавива – «Севильский цирюльник»), а также как режиссер ставил «Паяцев» (см. 6.8). Арии в его исполнении звучали по радио. В воспоминаниях современника находим (о юбилейном вечере К. Паустовского в 1967 г.): «...Предоставили слово народному артисту Союза ССР Ивану Семеновичу Козловскому, „образцовому тенору“, как называли его» (*Свирский Г.* На лобном месте: Литература нравственного сопротивления (1946–1976). Лондон, 1979. С. 417). В других мемуарах есть следующая запись: «В дни моей юности в России, я думаю, не было никого, кто не знал бы Ивана Козловского, голос его все время звучал по радио, престиж оперы был чрезвычайно высок – он же был лучший солист Большого театра. Мне кажется, впрочем, что тембр голоса у Козловского не очень приятен, и лучшая партия его – это партия Юродивого в „Борисе Годунове“: „Пода-а-йте копеечку...“ Сейчас, вероятно, его стали забывать» (*Амальрик А.* Записки диссидента. Анн-Арбор: Ardis, 1982. С. 27).

6.4 ...*что-нибудь из «Цирюльника»*. —

То есть что-нибудь из оперы итальянского композитора Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» (1816). Фрагменты оперы регулярно включались в репертуар советских музыкальных радиопрограмм в 1950–1970-е гг., но и раньше, до советских времен, арии из «Цирюльника» были музыкальным фоном праздного времяпровождения. Например, у М. Кузмина: «Зачем „Севильский брадобрей“ / На пестрой значился афише» («Новый Ролла», ч. 3, гл. 3), «И пели нам ту арию Розины: / „Io sono docile, io sono rispettosа“» («Из поднесенной некогда корзины...», 1906). Попутно замечу, что, возможно, Веничка хочет послушать из «Цирюльника» именно эту каватину Розины из второго акта оперы: героиня Россини признается, что она «так безропотна, так простодушна», то есть очень близка по натуре герою поэмы.

Опера как таковая занимала особое место в жизни советского человека, тем более в «дотелевизионную» эпоху (1950-е гг.). Современник Ерофеева, знакомый с «Полетом шмеля», «Севильским цирюльником», Гуно, Римским-Корсаковым, Вагнером и иже с ними, Юрий Нагибин вспоминает:

«С чего началась моя меломания? Не знаю. Но разве могу я сказать, с чего началась фантиковая болезнь или упоительные трамвайные путешествия на окраины Москвы? Мига пленения не замечаешь, а потом кажется, будто так всегда было...

В раннем детстве меня, как полагается, водили на „Сказку о царе Салтане“, на „Золотого петушка“ и для общего развития – на „Князя Игоря“. Последний был просто невыносим: сплошное пение, и никаких событий. <...> В „Сказке о царе Салтане“ я с нетерпением ждал полета шмеля, о чем был заранее предупрежден, но когда полет – вполне сносный – состоялся, смотреть стало нечего. <...> Вообще я был твердо убежден, что хуже оперы на свете только балет. <...> Опера надолго исчезла из моей жизни. Попал я туда снова уже одиннадцатилетним, после только что перенесенного крупозного воспаления легких. В эту-то пору нового освоения бытия я вдруг оказался в филиале Большого театра на „Севильском цирюльнике“. <...> Я помню себя направляющимся ранним весенним подвечером в компании таких же меломанов к Большому театру. Вернее, к филиалу Большого – там ставили мелодичные оперы Россини, Верди, Пуччини, Гуно, которые мы по молодости и незрелости предпочитали монументальным творениям Римского-Корсакова, Вагнера, Мейербергера, преобладавшим на главной сцене. Конечно, мы не оставляли вниманием и Большой, ведь там шли „Евгений Онегин“, „Пиковая дама“, „Кармен“, но предпочитали филиал, как станет ясно в дальнейшем, не только из-за репертуара. <...> Чем была для нас опера? Развлечением? Удовольствием? Нет, чем-то неизмеримо большим. Мы жили сурово и деловито. Шумный двор почти весь год был бессменной декорацией нашего скудного досуга. Никто из нас не видел ни моря, ни гор, ни чужих городов. Опера уводила нас в пленительный, яркий мир, исполненный благородства» («Меломаны»).

6.5 С. 13. Царица небесная! —

Восклицание, формально обращенное к Богоматери, а неформально – всего лишь сетование. Например, у Горького: «Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звезд, и шептала: – Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники перед тобой, матушка!» («В людях», гл. 2); у Бунина: «Тихон Ильич стиснул челюсти. – Ох! – сказал он, закрывая глаза и трясая головой. – Ох, мати царица небесная!» («Деревня», гл. 1); у Фета:

Такой тебе, Рафаэль, вестник бога,
Тебе и нам явил твой сон чудесный
Царицу жен – царицею небесной!

(«К Сикстинской Мадонне», 1864)

6.6 ...музыка-то с какими-то песыми модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. —

О неприятном, по мнению некоторых, тембре голоса Ивана Козловского см. замечание Амальрика (6.3).

6.7 Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю... —

Здесь без труда усматривается намек на отчаянную конкуренцию в советской оперной элите 1940–1950-х гг. Козловского и другого тенора-лауреата из Большого театра – Сергея Яковлевича Лемешева (1902–1977), обладавшего как множеством правительственных наград и премий, так и не менее слащавым высоким голосом. В 1950-е гг. большие и хорошо организованные группы поклонников Козловского и Лемешева враждовали друг с другом. Раз-

дражаться высокими, ненатуральными и потому «мерзкими» голосами оперных певцов из Большого театра стало проявлением хорошего тона в среде литераторов, нигилистически расшатывающих традиции. Так, до Венички «мерзкий тенор» Леонида Собинова, предшественника Козловского и Лемешева, раздражал Маяковского, причем также ассоциируясь с исполнением арии Лоэнгрина (см. 6.8): «Ваше слово / слюнявит Собинов <...> Эх, поговорить бы иначе / с этим самым / Леонидом Лоэнгриничем!» («Сергею Есенину», 1926).

Формулировка положения сделана под начало романа Льва Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» («Анна Каренина»).

6.8 С. 13. *«О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных...» <...> «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... Не отверга-а-ай...»* —

Попурри из популярных оперных арий.

1) *О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков...* — фрагмент арии Фауста (тенор) из Пролога оперы Шарля Гуно «Фауст» (1859; либретто Ж. Барбье и М. Карре по 1-й части трагедии Гёте «Фауст»). Партия Фауста входила в оперный репертуар Козловского. См. также 25.39.

Ах, оставь меня, радость, веселье!
Лети, лети своей стезей! Лети, лети!
О, чаша моих предков, зачем дрожишь ты?
Зачем в этот миг роковой дрожишь ты
в руке моей?

Примечательно, что Фауст поет эту арию, держа в руке кубок с ядом. Отхлебнуть из него, то есть покончить с собой, Фаусту не удастся из-за внезапного появления Мефистофеля.

2) *О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных...* — еще один слегка «адаптированный» Веничкой фрагмент из «Фауста» Гуно: ария Фауста из 2-го действия, обращенная к Маргарите.

О, позволь, ангел мой,
на тебя наглядеться!
О, позволь, ангел милый,
наглядеться!
При блеске звезд ночных
глазам не хочется,
о, поверь мне, оторваться
от чудных, чудных глаз твоих!

Как визуальный и звуковой фон происходящих событий опера Гуно «Фауст» встречается в литературе, в частности у Бунина, герой которого, как и Веничка, способен «изнемочь» (см. 17.4):

«Однажды зимой он был с ней в Большом театре на „Фаусте“ с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющие далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные: „Жил, был в Фуле добрый король...“ Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно

поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу» («Митина любовь», 1924).

Бунин также упоминал и цитируемую арию, причем исполняемую не вживую, а, как и в «Москве – Петушках», в записи и в «алкогольном» контексте:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.